

МИРОВОЙ БЕСТСЕЛЛЕР,
ПЕРЕВОДИТСЯ НА БОЛЕЕ ЧЕМ 30 ЯЗЫКОВ

Шелли Рид Идти за рекой

роман

CoRpus

Лиричный голос Шелли Рид — это голос самой природы, и отдает она его женщине, жизнь которой в родном Колорадо полна трудностей и горестей. История ее трагична, но оставляет надежду, а главное — она незабываема.

БОННИ ГАРМУС, автор романа "Уроки химии"

Шелли Рид
Иди за рекой

«Издательство АСТ»

2003

УДК 821.111-31
ББК 84(7Сое)-44

Рид Ш.

Иди за рекой / Ш. Рид — «Издательство АСТ», 2003

ISBN 978-5-17-153518-6

Виктория случайно встречается с Уилом на улице, и оба они и не догадываются, как эта встреча изменит их жизни, сколько в будущем таится и страсти, и опасности. Когда случается трагедия, Виктория оставляет все, что было ей так знакомо и привычно, бежит в горы, учится выживать самостоятельно, до конца не представляя, что ожидает ее впереди. За несколько месяцев она меняется, находит в себе силы заново переустроить себя. И даже когда ее родным землям грозит оказаться затопленными, она находит способ сохранить обожаемый персиковый сад, которым владело несколько поколений ее семьи. В формате PDF А4 сохранен издательский макет книги.

УДК 821.111-31

ББК 84(7Сое)-44

ISBN 978-5-17-153518-6

© Рид Ш., 2003

© Издательство АСТ, 2003

Содержание

Пролог	6
Часть I	7
Глава первая	7
Глава вторая	15
Глава третья	20
Глава четвертая	24
Глава пятая	31
Глава шестая	37
Глава седьмая	42
Конец ознакомительного фрагмента.	43

Шелли Рид Иди за рекой

© Shelley Read, 2023. International Rights Management: Susanna Lea Associates on behalf of Spiegel & Grau, LLC

© И. Филиппова, перевод на русский язык, 2024

© А. Бондаренко, художественное оформление, макет, 2024

© ООО «Издательство АСТ», 2024

Издательство CORPUS®

Ричарду и Кэтрин – моим родителям и путеводным звездам

Эйвери и Оуэну – моему вдохновению

Эрику – моему навсегда

*И наступает миг, когда
Ты говоришь лесам и морю,
Горам и всей земле:
Ну вот, теперь готов.*

Энни Диллард

Пролог

Представьте себе, сколько там всего, на черном дне озера. Мусор, приносимый рекой и сбрасываемый с лодок, с годами истрепывается, мягчает. Губастые рыбы проплывают свои странные жизни, держась подальше от крючка, двигаясь и дыша неразделимо. Представьте себе вихляющие клочки озерной тины – так танцуют гибкие и стройные женщины, когда никто не смотрит. Встаньте у самой кромки, позвольте тихим волнам заглотить ваши туфли, пока вы представляете себе, насколько близко подошли к этому миру, такому же тихому и непостижимому, как лунный, ведь и сюда не добивает свет, тепло и звуки.

Мой дом – на дне озера. Там лежит наша ферма, погруженная в ил, ее останки не отличишь от обломков затонувших лодок. Глянцевая форель прочесывает мою бывшую комнату, а еще гостиную, где мы с семьей собирались по воскресеньям. Гниют амбары и корыта. Ржавеет спутанная колючая проволока. Земля, прежде плодородная, теперь маринуется в праздности.

В учебниках по истории создание водохранилища Блю-Меса могут сколько угодно представлять в героическом свете, как часть грандиозного проекта по перемещению драгоценной воды из притоков Колорадо на засушливые земли Юго-Запада. Возможно, бывшую бурную реку Ганнисон и в самом деле заткнули и принудили стать озером из самых благих намерений, но я-то знаю совсем другую историю.

Я, бывало, стояла в этой части Ганнисона по колено в воде, когда река еще текла, стремительно и бурно, через родную мою долину, а над ней высились бескрайние и бесприютные горы Биг-Блю. Я знала городок Айола, когда он просыпался по утрам к ароматному завтраку, к работе на ферме и хозяйственным заботам, и видела, как восходящее солнце освещает восточную сторону Мейн-стрит, потихоньку продвигается вверх, через железнодорожные пути и школьный двор и наконец зажигает красно-синий витраж единственного круглого окошка крошечной церкви. Я мерила жизнь по глухим паровозным гудкам в 9.22, 14.05, 17.47. Мне были известны все кратчайшие дороги городка, все его жители и то самое старое и кривое дерево, которое исправно приносило лучшие персики в нашем саду. А еще мне была известна – возможно, даже лучше, чем другим, – печаль этих мест.

Благие намерения переместили кладбище Айолы высоко на холм (хочется верить, что все надгробия моей семьи совпали с соответствующими останками), где оно так до сих пор и находится, за белой железной оградой, просевшей и прогнувшейся под тяжестью снега. Вся прочая Айола, штат Колорадо, была затоплена – с самыми благими намерениями.

Представьте себе город, молчаливый, забытый, разлагающийся на дне озера, которое когда-то было рекой. Если вы при этом зададитесь вопросом, удалось ли водам потопа смыть все здешние радости и беды, то я вам отвечу: нет, не удалось. Пейзажи юных лет нас создают, мы уносим их в себе и, в зависимости от того, что они даровали нам и чего лишили, становимся тем, чем становимся.

Часть I 1948–1949

Глава первая

1948

Вида он был невзрачного.

Во всяком случае, на первый взгляд.

– Извините, – сказал молодой человек, коснувшись потемневшими от грязи большим и указательным пальцами козырька потрепанной красной бейсболки. – К ночлежке так дойду?

Всего-то. Самый обыкновенный вопрос от неумытого незнакомца, шагающего по Мейн-стрит как раз в тот момент, когда я дошла до перекрестка с улицей Норт-Лора.

Комбинезон и руки были у него сплошь в чем-то черном – я предположила, что это колесная смазка или несколько слоев пыли с полей, хотя цвет уж чересчур темный и для того, и для другого. Щеки тоже были в грязи, но сквозь дорожки пота просвечивала загорелая кожа. И прямые черные волосы торчали из-под кепки.

То осеннее утро было таким же обыкновенным, как овсянка и яичница, которые я подала мужчинам на завтрак. Да и после завтрака я тоже не заметила ничего особенного – пока выполняла привычные дела по дому, задавала корм смиренным животным, собирала в утренней прохладе две корзины поздних персиков и развозила их, как и в любой другой день, уложив в расшатанную тележку, пристегнутую к велосипеду, и когда вернулась домой готовить обед. Но теперь-то я уже знаю, что восхитительное скрывается за обыкновенным – как тот глубокий и таинственный мир, что лежит под гладью моря.

– Куда угодно так дойдете, – ответила я.

Я не пыталась сосречь или заслужить его внимание, но судя по тому, как он притормозил, чуть развернувшись, и как скривились в едва заметной улыбке его губы, видно было, что мой ответ его повеселил. У меня из-за этого его взгляда внутри все подпрыгнуло.

– В смысле, городок маленький, – попыталась я поправить дело, разъяснить, что я не из тех девчонок, на которых парни обращают внимание и которым криво улыбаются, нарочно остановившись на перекрестке.

Глаза у незнакомца были темные и блестящие, как вороново крыло. А еще добрые – вот что я успела отметить во время первого его коротенького взгляда и потом еще раз – во время второго, долгого: доброта будто хлестала откуда-то из самой его глубины и переливалась через край, как вода из переполненного колодца. Он посмотрел на меня изучающе и по-прежнему улыбаясь, а потом снова дернул за козырек кепки и зашагал дальше в сторону постоянного двора Данлэпа, почти в самом конце Мейн-стрит.

Я сказала правду: по этой раздолбанной дороге можно было идти до чего угодно. Помимо ночлежки Данлэпа у нас была еще гостиница “Айола” для тех, кто побогаче, и сзади к ней прижималась пивная – для тех, кто любит выпить; “Джерниганс стэндарт”, совмещавшая в себе заправочную станцию, скобяную лавку и почтовое отделение; кафе, из которого всегда пахло кофе и беконом; и Большой Магази́чик Чапмена с бакалеей, гастрономическим отделом и избытком сплетен. На западном краю всего этого высился флагшток между школой, в которую я когда-то ходила, и белой дощатой церковью, где, бывало, сидели все члены нашей семьи, умытые и нарядные, каждое воскресенье, пока мать была жива. А дальше Мейн-стрит резко упиралась в склон холма – точкой после короткого предложения.

Я двигалась в том же направлении, что и незнакомец – шла вытаскивать брата из покерного логова на задворках заправки “Джерниганс”, – но мне вовсе не хотелось плестись за ним следом. Я задержалась на углу и, загорюившись ладонью от полуденного солнца, стала разглядывать его удаляющуюся фигуру. Он шагал медленно и безмятежно, как будто каждый следующий шаг и был целью его движения: руки болтались взад-вперед, а голова будто немножко за ним не поспевала. Пропыленная белая футболка туго обтягивала плечи под помочами комбинезона. Он был строен и мускулист, что выдавало в нем батрака.

Будто почувствовав на себе мой пристальный взгляд, он вдруг обернулся и сверкнул улыбкой, посреди чумазого лица просто ослепительной. Я ахнула, застигнутая врасплох. От груди к щекам взметнулась жаркая волна. Он снова приветственно дернул козырек, как тогда, отвернулся и пошел себе дальше. Лица его я не видела, но почти не сомневалась в том, что он так и улыбается во весь рот.

Сейчас, оглядываясь назад, я знаю, что мгновение то было судьбоносным. Ведь я же могла повернуть назад и двинуть обратно по Норт-Лора-стрит – домой, готовить ужин, а Сет бы пускай притащился на ферму, когда сам захочет, ввалился бы в дверь на глазах у папы и дяди Ога и сам бы расплачивался за свои грехи. Ну или, по крайней мере, я бы могла перейти на другую сторону Мейн-стрит, чтобы между нашими тротуарами пролегал ряд желтеющих тополей и изредка проезжали автомобили. Но я предпочла этого не сделать, и это было лучшее решение в моей жизни.

Вместо этого я очень медленно шагнула вперед – раз, потом другой, интуитивно догадываясь о значимости каждого осознанного движения: поднять ногу, выпрямить и опустить на землю.

Со мной никто и никогда не говорил о том, что такое привлекательность. Когда моя мать умерла, я была слишком маленькой, и от нее я этих секретов узнать не успела, да и вообще сложно представить, чтобы она стала ими со мной делиться. Она была очень тихой и благопристойной женщиной, чрезмерно послушной Господу Богу и возлагаемым на нее надеждам. Насколько я помню, нас с братом она любила, но ее привязанность проявлялась лишь в строго очерченных пределах, и она направляла нас, движимая тяжелым страхом перед тем, в каком виде все мы предстанем перед Богом в Судный день. Иногда мне доводилось краем глаза заприметить ее тщательно скрываемые чувства: они выплескивались, когда нам с братом надирали задницы черной резиновой мухобойкой, или расплывались бледными пятнышками быстро утираемых слез, когда мать поднималась после молитвы, но я ни разу не видела, чтобы она поцеловала отца или хотя бы раз сжала его в объятьях. Хотя родители успешно руководили фермой и были друг для друга надежными партнерами, я не наблюдала между ними той любви, какая свойственна мужчине и женщине. Для меня чувственность была таинственной землей без карты.

Разве только вот что: в те унылые осенние сумерки я смотрела в окно гостиной, мне тогда только-только исполнилось двенадцать, и по мокрому гравию к дому подъехал шериф Лайл на своем длинном черно-белом автомобиле и как-то неуверенно приблизился к отцу, который вышел во двор. Сквозь пар собственного дыхания на стекле я увидела, как папа медленно падает на колени, прямо так, в свежую грязь после дождя. Я уже давно выглядывала в окне мать, двоюродного брата и тетю, которые возили персики через перевал в Каньон-сити и должны были вернуться еще несколько часов назад. Отец тоже их высматривал и так волновался из-за их отсутствия, что весь вечер сгребал жухлые листья, которые обычно оставлял на траве на зиму, чтобы из них получился компост. Когда отец согнулся под тяжестью слов Лайла, мое детское сердце пронзили две великие истины: отсутствующие члены моей семьи домой уже не вернуться, и мой отец любил мою мать. Они никогда не демонстрировали своей любви и никогда о ней не говорили, но вот теперь я поняла, что на самом-то деле они ее знали – на свой собственный молчаливый лад. Вот эта их почти неосознанная связь – а еще сухие, будто ничего

не произошло, глаза отца, когда спустя какое-то время он вошел в дом и мрачно сообщил нам с Сетом известие о маминой смерти, научили меня, что любовью не делятся с другими: и когда ее возвращают и лелеют, и даже когда по ней скорбят, она – личное дело двоих. Она принадлежит только им и никому больше, как секретное сокровище, как стихотворение, написанное втайне ото всех.

А больше я ничего о любви не знала – особенно о том, как она начинается, и об этой необъяснимой тяге к другому человеку: почему какие-то парни проходят мимо, и ты их не замечаешь, а этот вдруг цепляет тебя чем-то таким же неотвратимым, как притяжение Земли, и отныне ты не можешь думать ни о чем другом.

С этим парнем мы шли в одно и то же время по одному и тому же узкому тротуару одного и того же богом забытого колорадского городишка, и расстояние между нами было не больше, чем в полквартиры. Я следовала за ним и думала, что ведь откуда бы он ни пришел, где бы ни был его дом и какой бы ни была его жизнь, мы с ним прожили свои семнадцать лет – возможно, он немного дольше, а может, немного меньше, – не имея ни малейшего представления о существовании друг друга на этой земле. А теперь, в это самое мгновение, по какой-то причине наши жизни вдруг пересекались так же неоспоримо, как Мейн и Норт-Лора.

Сердце зашпешило: расстояние между нами уменьшилось сначала с трех домов до двух, а потом до одного, и я поняла, что он медленно, но верно снижает скорость.

Я не представляла, что делать. Если я тоже начну замедляться, он решит, что я за ним повторяю, слишком уж пристально слежу за незнакомым человеком. А если продолжу идти ровным шагом, то очень скоро его нагоню, и что тогда? Или, еще хуже, пройду мимо, и буду чувствовать на спине его прожигающий взгляд. Он, конечно же, заметит мою неуклюжую походку, голые икры и стоптанные кожаные туфли, а еще старое школьное платье бордового цвета, которое мне давно мало, и обыкновенность моих прямых каштановых волос, с воскресенья не мытых.

В общем, я замедлилась. И, будто прикрепленный ко мне невидимой ниточкой, он замедлился тоже. Я еще сбавила скорость, и он сбавил, он теперь едва двигался. И наконец совсем остановился. У меня больше не было выбора – пришлось сделать то же самое, и вот мы оба стояли, как две дурацкие статуи, посреди Мейн-стрит.

Я чувствовала, что он стоит на месте ради шалости. Я вся обмерла от страха, нерешительности и сбивающих с толку первых раскатов желания. Об этом парне я знала всего несколько минут и меньше квартала, а у меня из-за него уже все внутренности вертелись, как камешки на дне бурной реки.

Я не услышала ни пухлой жены доктора, ни стальных колес ее детской коляски, которые нагоняли меня сзади. Когда миссис Бернет и ее ребенок возникли рядом со мной, пытаюсь сманеврировать и меня объехать, я подпрыгнула, как перепуганная белка.

Миссис Бернет с подозрением улыбнулась, и ее выщипанные тоненькие брови вскинулись в невысказанном вопросе, а вслух она только бросила короткое:

– Тори.

Меня едва хватило на то, чтобы вежливо кивнуть, – я и имя малыша напрочь забыла, и не подумала протянуть руку и ласково потрепать его светлые волосы.

Незнакомец проворно отшагнул в сторону, давая миссис Бернет пройти. Она с любопытством оглядела его с ног до головы и едва заметно улыбнулась, когда он коснулся пальцами козырька и произнес: “Мэм”. Потом она оглянулась на меня, наморщив лоб, будто пытается разгадать загадку, и наконец отвернулась и вразвалочку пошагала дальше в направлении центра.

Мы и в самом деле были загадкой – я и этот парень. Загадка звучала так: у кого, если связать их одной нитью, и судьбы тоже связаны? Ответ: у двух марионеток в общей связке.

– Виктория, – сказал он с небрежностью старого знакомого, обернувшись и посмотрев мне прямо в глаза, – вы что ж, преследуете меня?

По-видимому, он решил, что теперь его очередь острить, и собственная шутка развеселила его не меньше, чем то, что он чуть раньше ошибочно принял за мою.

Я что-то забормотала, как ребенок, укравший монетку, и наконец смогла выговорить короткое:

– Нет.

Он скрестил загорелые руки на груди и ничего не сказал. Я не могла понять, над чем он размышляет – над собственным вопросом или надо мной, а может, над случайностью этого мгновенья.

Когда мне стало уже невыносимо в этом молчании, я с притворным самообладанием расправила плечи и спросила:

– Откуда вы знаете, как меня зовут?

– Я просто внимательный, – сказал он.

Прозвучало грубовато, но в то же время как бы и скромно.

– Виктория, – повторил он – медленно, будто ради одного только удовольствия от прокатывания слогов по языку. – Имя прям для королевы.

Его обаяние было сильнее, чем растрепанный вид, и, как бы отчаянно я ни старалась скрыть свои мысли, он наверняка их угадал. Темные глаза протянули мне приглашение прежде, чем он успел произнести его вслух.

– Хотите пойти со мной? В смысле, прямо вот тут? – Он указал на место рядом с собой. – По-людски?

Я замялась, потому что – да, я хотела пойти рядом с ним, но что-то меня удерживало – не то приличия, не то неподдельная подростковая стеснительность. А может, дурное предчувствие.

– Нет, спасибо, – сказала я. – Я не могу... В смысле... Я же даже не знаю, как вас...

– Уил, – перебил он меня, я даже не успела спросить. – Уилсон Мун.

Он позволил своему полному имени какое-то время позвенеть у меня в ушах, а потом приблизился ко мне с протянутой рукой:

– Очень приятно с вами познакомиться, мисс Виктория.

Внезапно он стал очень серьезным и ждал, чтобы я шагнула в пространство между нами и дала ему руку.

Я в смущении помедлила, а потом присела в реверансе. Не знаю, кто из нас удивился сильнее. Я не делала реверансов с тех пор, как была совсем маленькой и ходила в воскресную школу, но это было единственное движение, которое в панике пришло мне в голову, уж слишком страшно было дотронуться до его руки. Я тут же почувствовала себя ужасно глупо и приготовилась, что сейчас он надо мной засмеется, но этого не произошло. Его улыбка растянулась на все лицо – стала широкой, яркой и искренней, но уж никак не насмешливой. Он с пониманием дела кивнул, опустил руку, сунул ее в карман грязного комбинезона и замер рядом со мной.

Тогда, застыв неподвижно под его пристальным взглядом, я понятия об этом не имела, но со временем узнаю, что Уилсон Мун воспринимает время и большинство других явлений совсем не так, как обычные люди. Он никогда никуда не спешил, не волновался, что время тратится впустую, и затянувшееся молчание между двумя людьми не считал неловкой пустотой, которую необходимо наполнить болтовней. Он редко задумывался над будущим, а уж о прошлом размышлял и того реже, зато текущий момент зачерпывал обеими руками – и восхищался каждой его мельчайшей подробностью, не извиняясь и не чувствуя, что должно быть по-другому. Ничего этого я не могла знать, когда стояла как вкопанная на Мейн-стрит, но мне

еще предстояло постичь его особую мудрость и со временем воспользоваться ею, когда она окажется мне совершенно необходима.

Так что – да, я передумала и приняла приглашение в тот октябрьский денек пройтись по Мейн-стрит бок о бок с парнем по имени Уилсон Мун, который перестал быть для меня незнакомцем.

Хотя весь наш разговор сводился к шуточкам и прогулка вышла короткой, к тому моменту, когда мы дошли до постоянного двора и поднялись по ветхим ступенькам крыльца, обоим не хотелось расставаться. Я топталась рядом с ним на разбитом пороге, и сердце в груди несло как угорелое.

О себе Уил почти ничего не сказал. Даже когда я спросила, пишется ли “Уил” с одной “л”, раз это сокращение от “Уилсон”, он только пожал плечами и ответил:

– Как угодно.

Единственное, что я в тот день узнала о Уилсоне Муне, это что он работал на угольных шахтах в Долоресе и сбежал.

– Просто вдруг разом все осточертело, – объяснил он. – Как будто голос в голове сказал: “Уходи, сейчас же”.

Вагоны с углем, предназначенные для узкоколейки Дуранго – Сильвертоун, были, как он рассказал, уже нагружены и готовы к отправке, раздался свисток поезда, и Уил воспринял это как призыв – долгий, пронзительный, настойчивый. Он знал лишь одно: эти вагоны отправляются в какое-то совсем другое место. И когда поезд медленно и тяжело потащился вперед, Уил взметнулся по ржавой лестнице вагона и прыгнул на теплую черную перину из угля. Начальник его заметил и некоторое время гнался за поездом, крича, бранясь и яростно размахивая шляпой. Вскоре и бригадир, и шахты стали едва различимы вдаль, и Уилсон Мун развернулся лицом навстречу ветру.

– Вы даже не знали, куда направляетесь? И куда в конце концов попадете? – спросила я.

– Да какая ж тут разница, – ответил он. – Что одно место, что другое – все равно, разве нет?

Единственным местом, которое я знала, была Айола и земля, которая тянулась за ней вдоль широкого прямого отрезка реки Ганнисон. Наш городок южной своей оконечностью прижимался к холмам Биг-Блю, а западной и северной упирался в громадные Лосиные горы. На востоке вдоль реки разматывалось длинным хвостом лоскутное одеяло полей и пастбищ. Мы с братом родились в фермерском доме, который мой отец унаследовал от своего отца, на высокой железной кровати, которая занимала половину бледно-желтой комнаты, укрытой в дальней части постройки, комнаты, которая предназначалась только для родов и гостей, пока дядя Ог после аварии не перебрался к нам жить. Ферма у нас была совсем обыкновенная и размера тоже невыдающегося, всего сорок семь акров, включая все хозяйственные постройки, дом и гравийную подъездную дорожку, длинную, как волчий вой. Зато от амбара до задней линии ограды на нашей земле росла единственная во всем округе Ганнисон персиковая роща, и персики она приносила сочные, румяные и сладкие. Восточную границу хозяйства огибали извилистые берега ручья Уиллоу-крик, вода в нем была ледяная – только-только со снежных вершин – и с охотой разливалась по рядам деревьев и скромным грядкам картофеля и лука. По ночам речка пела колыбельную под окном моей комнаты, убаюкивая меня, лежащую в железной кровати с шишечками, в которой я спала почти каждую ночь своей жизни. Восход над далекой горой Тендерфут и ежедневные протяжные гудки трех поездов, проезжающих через станцию на окраине города, служили мне самыми надежными часами. Я знала наизусть, как косо заглядывает в кухонное оконце послеобеденное солнце и как ложится оно поперек длинного соснового стола по утрам зимой. Я знала, что изо всех полевых цветов первыми по весне у нас на ферме появятся крокусы и фиолетовая живокость, а последними – иван-чай и золотарник. Я знала, что, стоит подняться над водой выбравшимся из личинок мушкам-поденкам, как

дюжина горных ласточек бросится к реке, и в ту же самую секунду к закинутой отцом удочке взметнется радужная форель. А еще я знала, что самые жестокие грозы, дьявольски темные и зловещие, почти всегда приходят из-за северо-западных вершин и что всякая певчая птица, каждый ворон и каждая сорока умолкают за секунду до того, как разверзнутся небеса.

Так что – нет, в моем представлении одно место не было точь-в-точь таким же, как все остальные, и я с удивлением смотрела на этого парня, который, похоже, понятия не имел о том, что такое дом.

– А как же ваши вещи? – спросила я, заинтригованная его бродяжьей жизнью.

– То же самое, – сказал он, пожав плечами и улынувшись так, будто знал о вещах нечто такое, чего я не знала, и в конечном итоге оказалось, что так оно и есть. Ему предстояло научить меня, какой настоящей ощущается жизнь, если разгрузить ее от всего лишнего и оставить только самое необходимое, и, когда это с тобой произойдет, ты больше не будешь видеть смысла ни в чем, кроме решимости жить дальше. Скажи он мне это тогда, я бы ему не поверила. Но время дергает нас за нитки.

Я не смогла придумать себе повод, чтобы зайти вместе с ним на постоялый двор Данлэпа. Даже если закрыть глаза на то, что я явилась сюда в компании незнакомого парня, девушкам не полагалось заходить в ночлежку без серьезной причины и заслуживающего доверие сопровождающего. К тому же близилось время ужина, и на мне по-прежнему висела отвратительная задача – вытащить Сета из-под навеса, где играли в покер, и доставить его домой раньше, чем отец вернется, когда увяжет последние запасы сена мистера Митчелла.

Я уведомила Уила о том, что нам пора прощаться, выдохнув печальное: “Что ж...”, но при этом осталась на месте и не развернулась, чтобы уйти. Я надеялась, что он сам догадается и сам сделает следующий шаг, но он, как и прежде, сохранял безмятежное спокойствие, улыбался мне и время от времени посматривал на небо, будто читал что-то в легких облаках наступающего вечера.

– Наверное, я уже пойду, – произнесла я наконец. – Ужин готовить и все такое.

Уил опять взглянул на небо, а потом спросил, встретимся ли мы на следующий день, чтобы я ему тут все показала, угостила куском пирога или чем-нибудь вроде того.

– В конце концов, – добавил он, – вы единственная, кого я знаю в этом чудо-городишке.

– Вообще-то вы меня не знаете, – сказала я. – Разве что чуть-чуть.

– Конечно, знаю, – подмигнул он. – Вы – мисс Виктория, королева Айолы.

Он согнулся пополам и взмахнул рукой в шутовском поклоне, как будто перед знатым лицом, и я рассмеялась. Потом он выпрямился и очень долго смотрел на меня – я даже подумала, что сейчас растаю, как шоколад, в последних лучах солнца, тянущихся к нам через порог. Он ничего не говорил, но я чувствовала, что он знает обо мне невозможные вещи. Он подошел поближе. Я впервые в жизни глубоко вдохнула его запах, терпкий, резкий и необъяснимо манящий, и на мгновение заглянула в его бездонные темные глаза.

Как можно прожить на свете семнадцать лет и ни разу не задумываться над тем, знает тебя кто-нибудь или нет? Раньше мне и в голову не приходило, что кто-то может заглянуть в самую суть вещей, а там-то – как раз и есть ты. Я стояла на пыльных ступеньках ночлежки и чувствовала себя прозрачной, будто меня поднесли к свету и рассматривают насквозь – я понятия не имела, что такое бывает, пока не встретила Уилсона Муна.

Я смущенно отступила на шаг назад – и согласилась встретиться с ним на следующий день. Мне хотелось его еще – так нестерпимо хочется солнечного света, когда его долго застигали тучи. Но не успели мы условиться – назначить время, место, повод, – как в меня с середины Мейн-стрит полетел знакомый голос и ударил будто камень.

– Тори!

Посреди улицы стоял, покачиваясь, мой брат Сет и сжимал левой рукой горлышко коричневой пивной бутылки.

– Тори, отойди от этого грязного ублюдка! – еле ворочая языком произнес он и указал в Уила бутылкой, отчего пиво темными пятнами расплескалось по пыльной дороге.

– Мой брат. Пьяный, – на выдохе сказала я Уилу и быстро развернулась.

Я торопливо спустилась по ступенькам крыльца, в отчаянии бросив за спину:

– Мне пора.

И поспешила к Сету, пока он чего-нибудь не натворил.

– Кто этот сукин сын? – прорычал он через окурок “лаки страйк”, болтающийся на нижней губе, и вопрос его адресовался скорее Уилу, чем мне.

– Никто, – сказала я и стала толкать Сета сзади, оперевшись обеими руками ему в спину – так сдвигают с места упрямых ослов, – направляя его обратно к пересечению Мейн и Норт-Лоры. Хотя Сет был меня на год младше, примерно в пятнадцать он обогнал меня в росте, а за последние полгода вырос еще минимум на два дюйма. Впрочем, роста я была невысокого, так что, в сравнении со своими ровесниками, Сет выглядел приземистым крепышом и сложение имел боксерское – как внешне, так и внутренне. Я старалась как можно скорее увести его из поля зрения Уила и подальше от зевак, домой.

– Просто пареньь дорогу спросил, вот и все, – соврала я, хотя каких-то пятнадцать минут назад это еще было бы правдой. – Проезжий.

– Черномазый подонок...

– Сет, от тебя воняет, – оборвала я его. – Хуже, чем в свинарнике, которым тебе бы надо заняться, пока папа не вернулся.

– В жопу папу, – промычал он с пьяной отвагой, глубоко затянулся сигаретой и швырнул ее на дорогу.

– Хоть раз сделай так, как тебя просят, иначе у нас обоих будет куча неприятностей, – сказала я, давя подошвой “лаки страйк”, а потом оглянулась через плечо и увидела краем глаза Уила, который по-прежнему стоял на пороге ночлежки и читал меня, как таинственную сказку.

– Да скорее эти свиньи полетят из своего засранного стойла, чем я начну выполнять твои приказы, деточка. С чего это ты взяла, что...

– Замолкни, Сет, – вздохнула я. – Просто возьми и заткнись.

Я больше не могла его слушать. Я сейчас ненавидела его больше, чем когда-либо. Теперь мое отвращение к нему было как-то связано с Уилом. Долгое время оно было связано с папой и дядей Огом, а еще с матерью, двоюродной сестрой и тетей, которых я начинала забывать. Но большую часть времени мое омерзение к Сету было необузданным и запущенным, как куст чертополоха, и с каждым днем нашей жизни становилось все острее.

Я принялась пихать его сзади что было сил. Он снес один удар в спину, споткнулся и качнулся вперед, на втором ударе выругался и заскулил; все это время он отхлебывал из бутылки пиво, но мне не сопротивлялся. То ли был слишком пьян, чтобы обращать на меня внимание, то ли понимал не хуже моего, что ему непременно следует оказаться в свинарнике раньше, чем солнце опустится за горный хребет.

Мы свернули на Норт-Лора-стрит. В глухом конце улицы к нашей ферме вела узкая протоптанная в сорняках тропинка – мимо границы поросшего соснами участка земли безумной Руби-Элис Экерс и через широкое поле травы. Это была самая короткая дорога от города до фермы, и мы с Сетом уже тысячу раз ходили по ней вместе. Когда мы были маленькими и шли по тропинке (уходили из дома или возвращались), мать поручала Сету за мной присматривать, хоть он и младше меня и намного менее ответственный, но ведь он все-таки был мальчик. С возрастом я сама начала присматривать за ним, не потому что кто-то мне это велел, а потому что это стало необходимо – не только ради него, но и ради себя, и ради папы тоже. Но как бы сильно я ни старалась уберечь Сета от его же собственного зла, мне это так и не удалось, да и пытаться осточертело.

Я торопливо вела его по тропинке: я толкала, он спотыкался и сыпал ругательствами. Потом у него из руки выпала бутылка. Мой мозг не успел осознать, что бутылка лежит на тропинке: я наступила на нее и завалилась вперед лицом, в полете толкнув на землю Сета и сама рухнув в грязь на правое бедро и локоть. Мелочи: слабо сжатая рука пьяного мальчишки, выпавшая из нее бутылка, растянутая лодыжка, разорванный рукав платья. Но часто именно маленькие судьбоносные повороты меняют нашу жизнь раз и навсегда: манящий зов свистка угольного поезда, вопрос, заданный незнакомцем на перекрестке, коричневая бутылка, лежащая в грязи. И можно сколько угодно убеждать себя в обратном, но моменты взросления невозможно тщательно отбирать подобно самым спелым и аппетитным персикам на ветке. В непрекращающемся ковлянии к собственному “я” мы собираем тот урожай, какой имеем.

С минуту я потерянно лежала в пыли. Сет тихонько рассмеялся, а потом притих. По лодыжке кругами расходилась боль. Когда я осторожно приподнялась от земли, меня вдруг подняли на воздух руки Уила – с той уверенностью, с какой жених подхватывает невесту. И хотя никакого порога тут не было – только поле поникших золотарников и высокой колючей травы, – я запомнила это мгновение как наш вход. Я не вздрогнула от испуга, когда он меня коснулся, не стала противиться его нежному объятию, когда он с легкостью поднял меня и прижал к своей перепачканной углем груди, не стала глупить и пытаться встать на ногу с уже опухающей лодыжкой.

– Ты шел за мной, – просто сказала я.

– Ага, – коротко ответил он, глядя вниз на Сета, который лежал на боку на краю тропинки, без сознания. – Что с ним будем делать?

– Да ни черта не будем делать, – сказала я, чем развеселила Уила.

“Ни черта не будем делать”, – повторила я про себя, потрясенная собственным бунтом – на словах и на деле. Я оставлю братца спать в грязи. А меня понесет на руках незнакомец.

Я задрожала. Не знаю, от боли, от злости или от первых искорок любви, – или от всего этого сразу, но я тряслась всем телом, как будто Уил выдернул меня из замерзшего пруда. Я что было сил обхватила его жилистую шею, и он пошел. Голова его слегка покачивалась от напряжения, как будто он кивал, соглашаясь. У него на руках я чувствовала себя невесомой, как ребенок, – и как ребенок ему доверяла. Это было совсем на меня не похоже – с такой готовностью принять помощь и защиту и ничуть не усомниться в искренности намерений незнакомого человека. И все же той девушкой, которую он нес на руках, была я. Мы шли по тропинке, которой я ходила всю жизнь, но сейчас я двигалась по ней способом, которого раньше не знала, и у меня было ощущение, будто все вокруг немного преобразилось. Отец, наверное, к этому времени уже ждал нас на ферме, и дядя Ог наверняка сидел в инвалидной коляске у окна или на парадном крыльце – он почти каждый день так делал, и оба они могли вот-вот увидеть, как меня несет через поле незнакомец. Я столько лет боялась отцовского осуждения и гнева дяди Ога, а сейчас мне было плевать на то, что они подумают и как отреагируют. В сравнении с безбрежностью плеч и рук Уила, удерживающих меня, папочка и Ог, их власть надо мной и забота о приличиях – все съезжилось. Даже горы, окружавшие нас, даже грозящее наказание казались мне чем-то ничтожно малым.

В то утро я вышла из дома обычной девчонкой, которую ждал самый обычный день. Я пока не умела определить, что за новый маршрут разворачивается передо мной, но знала, что домой возвращаюсь другим человеком. Я испытывала те же чувства, какие, должно быть, испытывали первооткрыватели из наших школьных учебников, когда, плывя по морю, раньше казавшемуся им бескрайним, вдруг замечали вдали таинственный берег. Внезапно я оказалась Магелланом собственного внутреннего мира и понятия не имела, что же такое только что открыла. Я опустила голову на широкое плечо Уила и гадала, откуда он и кого там оставил, а еще – надолго ли бродяги задерживаются на одном месте.

Глава вторая

Вот показался белый фермерский дом, за ним – полуразвалившиеся курятники, свинарник и залатанный серый сарай, в котором хранились инструменты, ведра и наш мерин Авель. Ни постройки, ни заборы не красили с последнего лета перед аварией. На ферме с тех пор вообще мало за чем был толковый присмотр, и теперь, пять лет спустя, без кузена Кэла, который занимался всем мелким ремонтом, и без мамы, которая всем заправляла, ферма будто превратилась из белоснежной наволочки в старый мешок для картошки. Причем превращение это происходило настолько постепенно, что я даже толком его не осознавала до этого момента, когда попыталась взглянуть на представшую перед нами картину глазами Уила. Вся моя жизнь была в этой самой ферме, и, когда он взглянул на нее впервые, я почувствовала себя жалкой и убогой.

Мне хотелось сказать: “Вообще-то мы не такие... Ну, то есть я не такая... Просто произошла авария, и...” Но вот оно лежало перед нами, доказательство – окончательное и бесповоротное провозглашение падения моей семьи.

Вдобавок к ветхим постройкам был еще пьяный брат, который валялся в грязи у нас за спиной, а теперь еще и приближался с грохотом по длинной подъездной дорожке ржавый отцовский грузовик. Когда папа выбрался из водительской кабины и разъяренной походкой двинулся в нашу сторону, я увидела, как дядя Ог выкатился в коляске на облезлое крыльцо, чтобы получше видеть, что сейчас будет: я не сомневалась, что он предвкушал драку. Я безвольно висела у Уила на руках и не могла отчистить хоть что-нибудь из того, что открылось его взору, или побежать с ним на задний двор к персиковому саду – последнему, что у нас еще оставалось красивого. Я закрыла глаза, предвидя в приближении отца окончательное столкновение своей жизни с жизнью Уила.

А столкновение это, к моему удивлению, явилось сзади.

Сет пришел в себя. Он беззвучно следовал за нами, пока тугая пружина злобы не разжалась и не швырнула его в мощном броске Уилу на спину. Последовавшая за этим драка сейчас воспринимается мною как нечто нереальное, в памяти на замедленном воспроизведении прокручивается размытая версия того, что тогда на самом деле произошло. Я вспоминаю подробности, которых не могу объяснить, – например, как Уил умудрился мягко опустить меня на землю на безопасном расстоянии, и как парни закружили надо мной подобно небольшому торнадо, и Уил плясал, точно птица, прямо в воздухе, уворачиваясь от яростных пинков Сета. Я отчетливо помню один-единственный крепкий удар Уила, который опрокинул Сета на землю, с окровавленным носом и сыплющего ругательствами, и появление задыхающегося от гнева отца, который потянул Сета вверх и поставил на ноги, а потом встал между парнями с разведенными в стороны руками, как рефери.

Сет, тяжело дыша, тыкался грудью в отцовскую ладонь, поливая проклятиями Уила и пытаясь до него дотянуться. Уил спокойно отступил и не сводил с Сета уверенного взгляда – так смотрят волки на поверженную жертву.

– Парень, ты, черт тебя за ногу, кто такой? – крикнул папа Уилу, а потом предупреждающе рявкнул на Сета, велел ему уgomониться, и сжал в кулаке ворот сыновьей рубахи.

– Уилсон Мун, сэр, – спокойно ответил Уил и, продолжая смотреть на Сета, коснулся пальцами козырька бейсболки, которая каким-то чудом удержалась у него на голове.

– Это мне, мать твою, ни о чем не говорит, – возмутился папа.

– Я тут проездом, сэр.

– Проездом с моей дочерью на руках и сыном на спине? – мрачно спросил папа, с подозрением и в то же время растерянно.

– Да, сэр, – ответил Уил без пространных объяснений и добавил только: – Одну подобрал с земли, от другого попытался отбиться.

Папа посмотрел на землю, где сидела я, оценил мою опухшую лодыжку и разорванное платье – и этим ограничился, подтверждения в моем взгляде искать не стал, а только спросил:

– Этот парень тебя обидел?

– Нет, папа, – ответила я. – Это Сет виноват. А он увидел, что я упала, и просто помог мне добраться домой.

– Да врёт она! – рявкнул Сет. – Этот ублюдок шел за нами от самого города, чтобы полапать ее своими грязными ручонками!

Сет в новом приступе ярости ткнулся в отца, толкнул воздух в направлении Уила и закричал:

– Я тебя убью, чертов латинос!

Папа покрепче схватил Сета и перевел нахмуренный взгляд с меня на Уила и обратно на меня. Он велел Сету заткнуться и мрачно спросил у меня:

– Это правда?

– Нет, папа, – повторила я. – Сет просто пьяный.

– Это-то понятно, – сказал папа, устало глядя на сына, который, наконец уступив отцовской хватке, повис на его кулаке и обиженно пинал ногой землю, как рассерженный ребенок.

Папа снова посмотрел на Уила, махнул ему свободной рукой и сказал:

– Ну-ка, давай, пацан, убирайся отсюда, и чтобы больше ни к моей земле, ни к моим детям ни на шаг, ясно тебе?

– Да, сэр. Ясно как белый день, – ответил Уил и дернул себя за козырек.

Он повернулся и, не взглянув на меня, целеустремленно зашагал через желтое поле в сторону города. Лавандовый горизонт будто всасывал его, пока очертания его фигуры не стали совсем крошечными и окончательно не исчезли. Я задавалась вопросом, пошел ли он обратно к железной дороге. Если все места были для него одинаково хороши, значит, любая другая точка на путях подойдет ему больше, чем тот город, в котором живет Сет. Я и не догадывалась, что в этот момент Уил, превращаясь в далекую точку, думал точь-в-точь обратное: что Айола стала для него местом превыше всех прочих, местом, откуда он не станет убегать из-за Сета, а останется из-за меня.

– Все время, пока я шел, – рассказывал он мне потом, когда мы лежали, прижавшись друг к другу, в его постели из нескольких одеял, – я ломал голову, как бы к тебе вернуться.

Я часто думаю: вот бы он тогда все шел и шел вперед, вскочил бы на следующий поезд и уехал бы в какое-нибудь другое место.

Папа с отвращением оттолкнул от себя братца, и Сет безропотно поковылял к свинарнику. Папа нагнулся, с большим трудом поднял меня с земли и понес в направлении дома. Его тело, в сравнении с крепкими объятьями Уилла, было костлявым и шатким, придавленным к земле не столько тяжестью моего веса, сколько тяжестью лет, прошедших с маминой смерти. Я не решилась обвить его шею руками, как сделала, когда меня нес Уил: боялась, что опрокину на землю. Как и ферма, он с каждым днем понемногу ветшал, и теперь, когда он нес меня на руках, когда-то сильных, мне казалось, будто меня везет старый хилый мул. Мне хотелось попросить, чтобы он опустил меня на землю, что я как-нибудь доковыляю, но я знала, что он не послушается, а папа не любил напрасных слов.

Когда он внес меня по трухлявым ступенькам на крыльцо и мы миновали инвалидную коляску дяди Ога, тот тонко и протяжно присвистнул. Я поняла по его зловещей ухмылке, что он получил огромное удовольствие от представления, ему плевать на мою ушибленную ногу, и он от всей души надеется, что неприятности на этом не закончатся, а так оно, к сожалению, и вышло. Папа проигнорировал его и занес меня в дом, где уложил на диван, а потом пошел

на кухню и стал звонить доктору Бернету. Я устроила ногу на муслиновых подушках, сшитых вручную матерью, и принялась ждать.

Мама называла эту комнату салоном. Нам позволялось бывать здесь только по воскресеньям после службы, когда мы с мальчиками возвращались из церкви чистыми и притихшими. Мы с Сетом и Кэлом часы напролет играли в шашки на деревянной доске, распластав долговязые тела по плетеному ковру в салоне, пока мама сидела в уголке в своем кресле-качалке над библией, а папа читал газету и дремал на золотистом шерстяном диване. Частенько из пансиона в городе к нам приезжала тетя Вивиан. Она старалась сидеть тихонько и вышивать, но довольно часто отвлекалась от рукоделия, чтобы пересказать нам историю, которую прочитала в журнале “Колье” или увидела в выпуске новостей перед кинокартиной в театре в Монтроузе. Если бы не она, я бы и знать не знала про место под названием Голливуд и нигде бы не слышала мелодичных имен его звезд: Эррол Флинн, Бэзил Рэтбоун, Грир Гарсон и мое любимое – с такими гладкими округлыми слогами: Оливия де Хэвилленд, женщина, которой я никогда не видела, но воображала, что она наверняка так же прекрасна, как и ее имя. Мама все это называла чепухой, что лишь добавляло рассказам тети Вив очарования. Время от времени Вив уговаривала маму дать нам послушать по радио миниатюру Лорела и Харди. Мы с мальчиками покатывались со смеху, пока глупость не овладевала Сетом настолько, что он не мог удержаться и принимался толкаться и бороться с Кэлом, и тогда мама приказывала выключить радио, а детям – покинуть салон. Я уходила всегда неохотно, но с покорностью, привыкшая к тому, что вечно виновата “за компанию”, и Вив каждый раз успевала бросить мне понимающий и извиняющийся взгляд.

Сидя в тихих сумерках вместе с призраками и дожидаясь приезда врача, который осмотрит мою лодыжку, я решила, что если мама приглядывает за мной с какого-нибудь небесного наблюдательного поста, то она и сейчас наверняка отругала бы меня за ногу на диване. На стене напротив висела белая полка, на которой мама хранила свою коллекцию фарфоровых крестов. Ниже висел один из мастерски вышитых ею библейских стихов, она их навывшивала много разных и развесила по всему дому – и для вдохновения, и в назидание. На этой вышивке было две ладони, сложенные в молитве, а вокруг них – кольцо из псалма: “Ему должно возвеличиться, а мне смириться. Иоанн 3:30”. Я с угрызением совести заметила, что темную деревянную рамку вышивки покрывает слой пыли. На противоположной стене висела другая мамина работа – вышитый стих в окружении ленты голубых цветов: “Вот, Я начертал тебя на дланях Моих; стены твои всегда предо Мною. Исаия 49:16”. Я смутно припомнила церковную службу, посвященную этому стиху, и как мама дотянулась до меня, чинно сидящей рядом на скамье, и легонько ущипнула меня за ногу, после чего снова как подобает сложила руки на коленях.

Сквозь прозрачные шторы салона я видела краешек головы дяди Ога и одно толстое плечо, переливающееся через высокую деревянную спинку коляски. Он сунул за щеку комок жевательного табака и пристально смотрел с крыльца в ту сторону, куда ушел Уил, будто все еще не выпускал из виду его силуэт. Каждые две-три минуты он подносил к губам красную банку из-под кофе, чтобы сплюнуть в нее, и за каждым плевком следовал глоток из серебряной фляжки.

В этом же самом салоне Огден ухаживал за тетей Вив – правда, с тех пор он так изменился, что я едва могла соединить в голове очаровательного молодого студента, который приходил когда-то к нам в гости, с этим сломленным человеком, который бесславно гнил на крыльце. Они с Вив познакомились в 1941 году на весеннем балу в колледже в Ганнисоне, где учился Ог. Вивиан с двумя подружками в погоне за романтикой отправились на бал без приглашения, все три удачно заарканили там по студенту, и все трое в конечном итоге предложили им руку и сердце. Если верить тому, что рассказала Вивиан, явившись в кухню к завтраку на утро после бала, довольная, как начищенный пятак, ее студент был из всех троих лучшим уловом.

Когда на следующей неделе в субботу она привела Огдена к нам на ужин, я не стала оспаривать то ее заявление. Вив говорила мне, что он был похож скорее не на красавца Кларка Гейбла в фильме “Это случилось однажды ночью”, а на притягательного Фреда Астера во “Времени свинга”. Я в жизни не видела ни одной кинокартины и не очень хорошо понимала, что она имеет в виду, – пока не увидела, как Ог скользнул от своего красного “понтиака” по дорожке к нашему дому: настолько легко, что казалось, его бело-коричневые туфли почти не касаются земли. Вив завизжала и кинулась ему навстречу, и ее каштановые накрученные на бигуди локоны, с которыми она полдня провозилась, были так сильно залакированы, что даже не подсакивали. Ог пожал на пороге руку нашему отцу и вручил букет цветов нашей маме. С красным галстуком-бабочкой и повисшей на локте хихикающей Вив он ворвался в наш дом подобно разрядившемуся в пух и прах зайцу.

Весь вечер он болтал без умолку, развлекая нас непрерывающимися историями о своих похождениях. Даже мама, очевидно смущенная его пылом и явно обеспокоенная спасением его души, разок-другой хихикнула над его остроумием. Никогда прежде я не видела человека, который наблюдал бы рассвет над Гранд-Каньоном, забирался бы на высоту четырнадцать тысяч футов в горах здешнего хребта Сан-Хуан, катался бы на подвешенном металлическом кресле и съезжал бы по снежному склону на двух прикрепленных к ногам дощечках где-то на севере, в Айдахо. А Огден делал все это и много чего еще вместе со своим братом Джимми и, казалось, рассказывая об этих приключениях, заново испытывал пережитый восторг: он даже вскочил из-за стола, чтобы продемонстрировать позу лыжника: локти прижаты к туловищу напряженной буквой “Г”, в руках – воображаемые палки, колени присогнуты, бедра ходят из стороны в сторону. Он издавал ритмичные звуки “вжух!” и съезжал на лыжах со снежной горы из своих воспоминаний, а мы все сидели, застыв с поднесенной ко рту вилкой, и Вивиан так и сияла.

На следующую субботу Ог привел на ужин Джимми и, к нашему с мальчиками восторгу, театра стало вдвое больше. Джимми был на пару лет моложе брата, такой же гибкий и подвижный, а эмоционально даже более взрывной, чем Ог. Они работали в паре, как Берген и Маккарти, и наполняли наш дом жизнью и смехом.

Ог и Вивиан поженились в тот же год, прямо перед сбором урожая. Мы украсили церковь бледно-розовыми лентами и фиолетовыми пенстемонами, которые мы с мамой срезали у нас в саду. Джимми стоял рядом с Огденом, они ждали, пока Вив пойдет по проходу к алтарю, и оба глупо улыбались – казалось, их в любую секунду разберет истерический хохот.

Во всей нашей деревянной церкви никто не мог предугадать, что через три месяца политики где-то на другом конце земли решат сбросить бомбы на гавайскую гавань, о которой мы до этого и слыхом не слыхивали, и в результате этого Огдена и Джимми выдернут из жизни и отправят на войну.

Когда мне было лет пять, по городу с сумасшедшей скоростью распространилась новость о том, что у банкира из Монтроуза, мистера Мэсси, на железнодорожных путях в Айоле заглох его сверкающий “оберн спидстер” цвета слоновой кости, и машину смял в лепешку подъехавший поезд. Рассказывали, что мистера Мэсси, сидящего за рулем, расплющило: автомобиль сдавил его со всех сторон будто кокон; болтали также, будто ему колесами поезда отрезало голову, а еще ходили слухи, что он вылетел из открытого кабриолета на лобовое стекло локомотива и, испуская последний вздох, смотрел прямо в глаза машинисту. В действительности мистер Мэсси успел выскочить из машины до столкновения и остался цел и невредим, но история обрастала такими невиданными подробностями, что к концу дня почти каждый житель города поехал к железнодорожным путям на автомобиле, на лошади или на велосипеде, чтобы своими глазами взглянуть на искореженный “спидстер”. Я в тот день вместе с папой и Кэлом развозила персики – примостилась между ними на перевернутой фруктовой корзине, когда папа свернул на дорогу, которой мы почти не пользовались, и повез нас мимо станции и через

рельсы. Великолепный автомобиль, которым так восхищались, когда он проезжал по Мейн-стрит, и который был мостиком в совсем другую жизнь – настолько далекую, что жители Айолы о ней почти и не помышляли, превратился в кучу металлолома – огромная сплюснутая жестяная банка, да и только.

Война сделала с Огденом то же, что накативший паровоз – с шикарным автомобилем мистера Мэсси: взяла нечто прекрасное и многообещающее – и раздавила. Год спустя авария, отнявшая у нас Кэла, Вивиан и маму, сделала то же самое со всей нашей семьей. Я с юных лет узнала настырность краха. Каждым злым коричневым плевком в банку и каждым глотком из бутылки с виски Ог через окно салона напоминал мне, что никогда не следует по внешним признакам строить догадок относительно того, что случится дальше.

К тому моменту, когда отец прокричал из кухни, что доктор Бернет уже выехал, и, громко хлопнув дверью, вернулся к своим делам, я успела забыть о травмированной лодыжке. Я думала об Уиле и разрывалась между желанием снова его увидеть и внезапной очевидностью того, что самым мудрым решением будет выбросить из головы все мысли о нем, пока он все еще прекрасен, цел и невредим.

Глава третья

Перелома не было. Доктор Бернет замотал лодыжку широким белым бинтом и велел несколько дней держать ногу в покое. Не успела его машина исчезнуть в конце нашей длинной подъездной дорожки, как я уже нарушила его указания и поковыляла на кухню готовить. И правильно сделала, потому что, травма или не травма, отец, Ог и Сет, как и в любой другой день, ровно в семь явились на кухню, голодные и уверенные в том, что у меня готов для них ужин. Я поспешно сварганила кое-какой еды – жареные кусочки говядины с капустой с нашего огорода, миска булочек, оставшихся со вчерашнего вечера, четыре початка кукурузы с маслом и последние куски персикового пирога двухдневной давности, – но никто не возражал. В кухне за едой у нас можно было услышать только стук приборов по тарелкам да изредка отрыжку дяди Ога. Сет сидел, низко опустив голову и пряча свой распухший и посиневший нос, и ел с жадностью, отправляя в рот за раз целую кучу еды. То ли это драка разожгла в нем такой зверский аппетит, то ли он хотел как можно скорее убраться из-за стола. Он опустошил свою тарелку в два раза быстрее, чем все остальные, и тут же встал.

– Сегодня ты никуда не пойдешь, – скомандовал отец, прежде чем Сет объявил о своих планах.

– Какого черта?! – возмутился Сет, прищурившись, будто свет в кухне был чересчур ярок. Обезображенный нос делал его похожим на инопланетянина.

– Следи-ка за языком, парень, – предупредил отец.

Он намазал маслом булочку, откусил большой кусок и принялся медленно жевать, уставившись в пустое пространство стола между ним и Сетом.

Сет нервно переминался с ноги на ногу. Отец проглотил и велел ему сесть, прибавив:

– Ужин не окончен.

Мама управляла нашей семьей согласно строжайших правил этикета, евангельских предписаний и практичности. В ее представлении, подобающее и неподобающее могли проявляться буквально во всем: от поведения за столом до манеры речи или способа вышивания. Пристойно и непристойно можно было даже намазывать майонезом ломтик хлеба для сэндвича, выбивать ковры или уговаривать куриц нести больше яиц. Нам не позволялось сидеть нога на ногу в церкви, заговаривать с человеком старше себя, пока он не заговорит с нами первым, скакать на лошади без седла, а еще мне, как девушке, бегать на людях дозволялось разве что на уроках физкультуры, пока я еще училась в школе. Когда мама умерла, отец пытался поддерживать ее высокие стандарты и всепроникающие правила, но ему и придержиться-то их всегда было не по нутру, а уж требовать этого от других – и подавно. Воспитание детей было маминой ответственностью, и, когда она умерла, он, похоже, так и не понял, что же с нами следует делать. Иногда, если вдруг доводилось вспомнить, он требовал от нас соблюдения закона, но делал это скорее из уважения к памяти мамы или для того, чтобы сорвать на нас дурное расположение духа, а не потому, что его искренне беспокоило наше поведение, и старые правила он применял настолько нерегулярно, что мы с Сетом не понимали, когда и какие принципы от нас потребуют соблюдать в следующий раз. Обычно Сет доедал и выходил из-за стола, когда пожелает. От меня требовалось прибираться после еды и мыть посуду – это было понятно, поэтому я никуда не спешила и всегда заканчивала есть последней. Однако в тот вечер вдруг сработало новое правило.

– Сегодня посуду моешь ты, – сообщил отец Сету, прежде чем еще раз откусить от булочки.

Не знаю, кто из нас двоих был сильнее потрясен этим объявлением, которое отец сделал с самым невозмутимым видом. Единственный принцип, который в нашей семье соблюдался всегда и неизменно, это то, что всю работу по дому выполняют женщины. Мама всю жизнь

беспрекословно придерживалась этого правила. Отец не сказал, связано ли его необычное требование с тревогой за мою лодыжку или с желанием наказать Сета, а может, и с тем, и с другим. Сет запрокинул голову и издал стон. Дядя Ог сипло и насмешливо крикнул.

Отец доел булочку, вытер губы муслиновой салфеткой и сказал:

– Этот пацан мексиканец уже давно ушел. А если нет, идти за ним – дурная мысль, только накличешь неприятностей, нам это ни к чему.

Предположение отца, что Уил из Мексики, целиком захватило наше внимание.

– Мексиканец? – презрительно фыркнул Ог, хлопнув себя по коротенькому обрубку правой ноги, а потом злобно спросил: – Красотка, ты, выходит, спуталась с нелегалом?

– Может, и нет, – огрызнулся Сет. – Не знаю, мексиканец или нет, но точно сукин сын.

– Хватит, – оборвал его отец.

Не знаю, что именно его разозлило – их шовинизм, злоба или просто звук их голосов.

Мне захотелось встать и заявить им, что они ни черта не знают про Уила Муна. У меня уже было такое чувство, будто он в каком-то смысле мне принадлежит, и что мужчины за этим столом, хоть они и родня мне, теперь значат для меня меньше, чем он.

Одному правилу мама научила меня на личном примере: лучшее, что может сделать для себя женщина, это поменьше говорить. Она часто казалась мне замкнутой в разговорах, особенно с наемными рабочими, которые ели с нами за одним столом. Но потом я поняла, что она, как и я, как и женщины во все времена, знала цену молчанию, которое можно использовать в качестве сторожевой собаки для своей правды. Открывая взорам лишь тоненькую щелочку собственного внутреннего мира, женщина предоставляла мужчинам меньше возможностей для грабежа. Я притворилась, будто тема Уилсона Муна меня не интересует, хотя вены мои жужжали, как электропровода, при одном упоминании его имени. Я доела. Допила молоко. Вежливо попросила разрешения встать из-за стола. Встав, поймала на себе мрачный взгляд Сета – он, конечно, разозлился из-за этой смены ролей, но было в его глазах и что-то еще, непроницаемое и пугающее. Прихрамывая, я вышла из кухни и поднялась по шатким деревянным ступенькам в укрытие собственной комнаты – ломая голову над тем, что за эмоцию я прочитала во взгляде брата. У меня не было для нее названия. Я только надеялась, что это не подозрение: о неукротимой жажде отмщения я в тот момент своей жизни еще ничего не знала.

В ту ночь, лежа в постели, я скучала по маме.

Я уже несколько лет не тосковала по ней так сильно и удивилась, что воспоминание пришло ко мне именно сейчас – когда от пульсирующей боли в лодыжке я могла бы отвлекать себя мыслями о Уиле, разрабатывая план нашей новой встречи и мысленно переживая то исключительное чувство, которое испытала, когда он нес меня на руках. Конечно, за пять лет, прошедших с маминой смерти, многое напоминало мне о ней, но ведь она научила меня быть разумной и практичной, а мечты о несбыточном не подразумевают ни одной из этих добродетелей. Я старалась не скучать по ней, чтобы отдавать дань ее рациональности, но ощущала сердцем очевидную абсурдность этой идеи. А если честно, просто тосковать по ней было уж слишком больно.

После аварии я первое время думала, что больше всех мне не хватает Кэла. Он жил с нами с тех пор, как я только-только начала ходить, после того как его родители – старшая сестра моей мамы и ее муж – погибли в торнадо, обрушившемся на их индюшачью ферму в Оклахоме. Правдивые факты их смерти никогда не обсуждались, и мое детское воображение создало картинку, на которой весь их дом целиком подняло в небо и закружило среди сотен пронзительно орущих индюшек, в последние мгновения жизни празднующих восхитительное открытие полета, а маленький восьмилетний Кэл будто по волшебству остался стоять как вкопанный, глядя вверх на происходящее и обреченно маша на прощанье рукой. Как бы он ни оказался у нас на самом деле, сколько я себя помню, добродушный Кэл всегда был для нас той

точкой, где разные течения семьи сливались в одну реку. Маму он иногда заставлял рассмеяться, а его трудолюбие и аккуратность в работе были единственным, если не считать исключительного урожая персиков, чем гордился отец. Кэл умел направить энергию Сета на полезные дела вроде рыбалки или починки двигателей, а иногда ему удавалось даже урезонить Сета разговорами. Для меня Кэл часто оказывался единственным человеком, к которому можно забраться на ручки, когда надо, чтобы тебе поцеловали содранную коленку, или просто нужен друг.

Но со временем, когда воспоминания о Кэле стали тускнеть, я начала осознавать, каково это для девочки – остаться на свете без мамы. Я жила в окружении мужчин и не имела перед глазами образца для подражания. После того как умерла мама, мужчины предположили, что я просто тихо возьму на себя ее роль – стану готовить им еду, смывать их мочу с унитаза, стирать и развешивать на веревке их грязную одежду и вообще заниматься всем, что есть в доме, а еще курами, а еще садом. Мама научила меня основам ведения хозяйства, но в двенадцать лет, когда дом стал моей обязанностью, я не знала, правильно ли все делаю, и уж точно, я делала все не так хорошо, как делала бы мама. А главное – я не была уверена, что мне хочется всем этим заниматься и имею ли я право об этом заявить. Со временем я своим умом дошла до ответов на эти вопросы.

Что еще хуже, через несколько месяцев после маминой смерти начало изменяться мое тело. Я созревала быстрее своих немногочисленных ровесниц в школе, и мне неоткуда было узнать, что происходит, и предположить, чего ждать дальше. К тому же я все равно была такая стеснительная и так много работала, что не могла близко сдружиться с кем-то из этих девочек. Чтобы избежать школьных издевок, я могла надеяться лишь на одно: что мне удастся стать совсем незаметной. Не зная, где и как купить лифчик, я носила большие свитера и надевала по несколько блузок сразу. Когда это перестало помогать, я стала обматывать грудную клетку эластичным бинтом, который заказала у мистера Джернигана, скормив ему избыточную чрезмерными подробностями ложь о больной коленке.

Вскоре после этого пришли мои первые месячные. Я проснулась в луже крови и подумала, что, конечно же, умираю. Скромность и интуиция подсказали мне, что отцу говорить об этом не следует. Я сняла простыни и с ужасом обнаружила, что кровь просочилась до матраса. Не имея времени на то, чтобы все это отчистить – надо было готовить завтрак и идти в школу, – я скомкала простыни, испачканное нижнее белье и ночную рубашку и засунула под кровать, а на грязный матрас накинула покрывало в цветочек. Не придумав ничего лучшего, я сложила несколько салфеток и засунула их в чистые панталоны, чтобы кровь не проливалась наружу. Я надела черную юбку, а под нее – шерстяные колготки и сверху на них еще пару летних бриджей, чтобы постараться удержать всю эту конструкцию на месте.

– Господи, да чего ты так плетешься? – возмутился Сет, когда я шла за ним по тропинке в школу.

– Мама не хочет, чтобы ты упоминал имя Господа всуе, – отвечала я.

– А, ну да, только мама умерла, ты не заметила? – сказал он и зашагал еще быстрее, пока не превратился в маленькую движущуюся черточку где-то вдали.

Никогда еще я так остро не ощущала, что мама умерла, как в тот день по дороге в школу, когда из меня через интимное место вытекала кровь, и я тряслась от страха, что салфетки сползут, сгибалась от спазмов в животе и ничуть не сомневалась в том, что рухну на землю и умру от таинственного недуга раньше, чем дойду до школы.

Вернувшись домой, я обнаружила рядом с кроватью ведро мыльной воды и щетку. Постельное белье больше не было запрятано под кровать, а лежало кучей рядом с ведром, по-прежнему окровавленное, но еще и ужасно грязное, как будто его извозили в грязи. Испачканные трусы исчезли вовсе. Я покорно принялась стирать простыни, тереть щеткой пятна, выжи-

мать воду и снова тереть. Молчаливые слезы стекали по носу, собирались под подбородком и срывались оттуда в ведро.

Вдруг на пороге возник отец в своем грязном комбинезоне и истрепанной соломенной шляпе. Он пожевал сомкнутые губы, будто пробовал на вкус слова, которые, возможно, сейчас произнесет. Я хотела рассказать ему, что происходит, – как в тот раз, когда сообщила о кровавой ране, которую обнаружила, когда одна из наших лучших свиней откусила кусок от другой. Я хотела, чтобы он помог мне понять, как в тот раз – “за территорию”, сказал он тогда и заверил меня, что тела заживают. Он, казалось, тоже что-то хотел сказать, но вместо этого отступил из дверного проема, повернулся и пошел прочь по коридору.

– Не оставляй свое личное там, откуда его могут утащить во двор собаки, – пробурчал он на ходу.

Его тяжелые шаги удалялись – по коридору, вниз по лестнице и дальше – через кухню. Проскрипела дверь с железной сеткой и громко за ним захлопнулась.

Собака у нас была всего одна – черно-серый пятнистый пастуший пес, которого мы называли просто Щенок, пока он не начал регулярно таскать рыбу из ручья и не заработал кличку Рыбак. Он был очень любопытной собакой, и наверняка именно он обнаружил мое грязное белье, но отец сказал “собаки” – во множественном числе, и хотя теперь, оглядываясь назад, я понимаю, что он просто оговорился или я неправильно услышала, но тогда терзавшие меня страхи, неопытность и невежество нарисовали передо мной картину целой яростной своры, привлеченной этим особым сортом крови и отныне намеренной повсюду преследовать мою семью, таиться и, возможно, напасть на меня, едва я выйду во двор. Я прижала простыни к лицу и зарыдала в них, свитер и юбка насквозь промокли. С того дня я закрывала за собой дверь каждое утро, уходя из комнаты. И на ночь, ложась спать, тоже закрывала. Если бы можно было перемещаться по дому и заниматься хозяйством, оставаясь при этом за собственной закрытой дверью, я бы именно так и делала. Я была девушка в доме, полном мужчин, и на глазах превращалась в женщину. Это почти то же самое, как если бы бутону расцветать в снежном сугробе.

Встреча с Уилом вызвала призрак этих старых переживаний и вдохнула в них обновленную жизнь. Чувства, которые он разжег во мне, еще на шаг приблизили меня к взрослению, и теперь, как и пять лет назад, я отчаянно нуждалась в том, чтобы рядом был кто-то еще женского пола. В реальности я бы, конечно, не рассказала маме о Уиле, даже если бы она находилась сейчас в соседней комнате. Она была бы возмущена тем, как мы нарушили правила приличия на Мейн-стрит и как дерзко он поступил, донеся меня до дома на руках. Не совета мамино на тему моей расцветающей любви я страстно желала. Скорее в ту ночь, проваливаясь в сон, я мечтала о том, как было бы здорово, если бы нашелся кто-нибудь, кто встал бы перед мужчинами в моем доме и защитил право женщины самой решать, кого ей любить, а кого нет. Сомневаюсь, что мама помогла бы мне и в этом, будь она жива. Но когда твоя мама умерла, в этом есть один положительный момент: ты можешь превратить ее в своего верного союзника во всем – независимо от того, поддержала бы она тебя на самом деле или нет.

В ту ночь мама мне приснилась – она стояла, широко раскинув крепкие руки, и закрывала собой бурный поток, пока я пряталась на груди у Уила. Сет сражался с волнами у нее за спиной, в отчаянии и злобе, но никак не мог проплыть мимо нее. В его глазах, огромных и сверкающих, был все тот же зловещий взгляд, что провожал меня в тот вечер от обеденного стола вверх по скрипучей лестнице.

Глава четвертая

На следующее утро от оглушительного рева двигателя родстера Сета у меня задремезжала оконная рама, я подскочила и очнулась от крепкого сна. Забыв про лодыжку, я спрыгнула с постели и рухнула на сосновые доски пола, как только ступила на больную ногу.

Никогда прежде тирады Ога не доставляли мне удовольствия, но сейчас, услышав, как он орет на Сета из окна своей комнаты на первом этаже, я порадовалась, что теперь мне не придется высовываться из окна и кричать на брата. На часах было десять минут шестого, двадцать минут до того ежедневного момента, когда будильник выталкивает меня из постели в направлении кухни – варить кофе и готовить завтрак, и почти час до того, когда обыкновенно просыпаются в нашем доме мужчины. И все же Сет был уже во дворе, заводил в предутренних сумерках свой дряхлый “крайслер”, который он так и не довел до рабочего состояния, но любил раскочегаривать двигатель, чтобы похвастать перед друзьями. Я подползла к окну и встала на одну ногу. Сквозь перекладины рамы за желтеющей ивой угадывался силуэт Сета и слабое сияние его выцветших джинсов и белой футболки. Он был с непокрытой головой, и короткий “ежик”, каждое лето выгорающий на солнце, уже приобрел осенний бледно-коричневый цвет. Я никогда не видела, чтобы он заводил машину в отсутствие публики, и уж тем более – в такой абсурдный час, но я хорошо знала Сета и привыкла ничему не удивляться. Он стоял перед поднятым капотом и ругался в ответ на Ога, но с моего наблюдательного пункта это выглядело так, будто он проклинает не Ога, а сам дом, он выкрикивал бранные слова в холодный утренний воздух, и изо рта у него валил пар.

– Это мой дом, понял?! Калека недоделанный! – клокотал Сет. – От тебя тут вообще ни хера проку! Скажешь, не так? И не указывай мне, что мне делать!

Сет обозвал дядю Ога ничтожеством, нахлебником, хромоногим псом и жирной задницей. Ог в ответ проорал, что Сет – сопляк, баба, мадама. В перепалке оскорблениями они друг друга стоили.

Ковыляя, я добралась до кровати, натянула до подбородка одеяло, укрывшись от холода и криков, и смотрела на брата, гадая, что он задумал на этот раз. Я слушала его бешеные крики со двора до тех пор, пока отец не велел ему заткнуться.

Тяга к непослушанию была у Сета врожденным качеством. Установленные мамой жесткие ограничения держали его в узде и вынуждали усмирять буйные порывы, но страсть к разрушению постоянно рвалась из него, как рвется на волю человек, одетый в смирительную рубашку. Мама почти не сводила с него глаз и предвидела каждый его негодный поступок прежде, чем Сет сам успевал о нем подумать: запрещала бросать камень прежде, чем он нагибался его поднять, запрещала дергать ребенка за волосы – еще до того, как он протянул к ним руку, запрещала громко кричать в церкви – раньше, чем он откроет рот. У них с Сетом сформировался молчаливый язык, для которого достаточно было лишь глаз, бровей и одной руки, – язык, который, хоть и был краток и прост, заключал в себе всю власть закона Божьего. За несколько секунд до того, как Сет швырнет персик, будто мяч для бейсбола, или прыгнет в грязную лужу, мама делала большие глаза, поднимала брови и быстро, будто топором, рубила воздух правой рукой, что безо всяких слов означало: “Не смей! Даже не думай!” Сет в ответ прищурился, сдвигал брови в кучку и правой рукой тоже рубил воздух, с досадой, – только такая незначительная форма бунта была ему дозволена.

Мы с Кэлом редко “получали удар топором”, как мы это называли, потому что очень старались не утяжелять маме жизнь, ей и без нас хватало хлопот из-за Сета. Я никогда не узнаю, в какой степени наше с Кэлом безупречное послушание было обусловлено добродетельностью, а в какой – желанием уравновесить испытания, которым подвергал нашу маму Сет, как будто

все мы раскачивались на разболтавшихся ненадежных качелях и надо было как-то удерживать равновесие.

Однако мама не могла присматривать за Сетом постоянно, и, вырываясь из-под ее настороженного взгляда, он от души бедокурил. Я сама была свидетельницей множества его шалостей – такого множества, без какого маленькой девочке лучше было бы обойтись, и догадывалась, что о большей части его безобразий никто из нас так и не узнал. Я видела, как он ворует монеты с прилавка с персиками, бьет ногой Рыбака, когда тот не слушается, а иногда даже когда слушается, тайком уезжает неизвестно куда на отцовском грузовике, – а сам еще такой маленький, что едва выглядывает из-за приборной панели. С друзьями Сет вел себя еще хуже, особенно в школе, когда с такими же, как и он, мальчишками затевал из-за малейшего спора жестокую драку в пыли двора или стаскивал у ребенка помладше сэндвич из свертка с обедом. Однажды я завернула за угол сарая и увидела, как Сет и трое мальчишек Оукли, которые жили с нами на одной улице, поливают керосином лягушек, поджигают их и покатываются со смеху, глядя на то, как бедные создания в ужасе мечутся туда-сюда. Я нырнула в сарай так, чтобы они не заметили, и рыдала там, уткнувшись в мягкую морду нашего мула Авеля.

В последнее лето перед аварией всякий раз, когда у Кэла выпадала передышка в косьбе, а я доделывала все поручения по хозяйству, мы с ним принимались за строительство дома на дереве – на ветвях самого высокого тополя, склоняющегося над ручьем. Мы собирали на окрестных фермах ненужные деревяшки, перетаскивали их домой по несколько штук за раз на спине у Авеля, привязывали к ним веревки и с помощью лебедки поднимали каждый обломок доски на верхние ветви. Большую часть работы делал Кэл, но небольшие задания он поручал мне, чтобы я тоже чувствовала себя причастной к строительству. Мы спросили Сета, не хочет ли он нам помочь, но у него в то лето было особое развлечение: он разрывал лисьи норы вместе с Холденом, старшим из братьев Оукли и из них из всех самым невозможным грубияном. Мама закатила глаза и позволила им рыть ямы в незасеянном углу фермы, где отец хранил запасной штакетник и инструменты. Мальчишки смастерили себе пулеметы из веток, натерли углем щеки и почти каждый день подкрадывались к нам с Кэлом, когда мы работали, нападали на нас из засады, обстреливали приплюсывающими звуками пулеметной очереди, орал нам наверх, что домик у нас уродский и мы только зря тратим время.

В день, когда дом на дереве был готов – с деревянным настилом пола, с четырьмя неровными, но прочными стенами, односкатной крышей и веревочной лестницей, которая свисала до земли через квадратное отверстие в центре, – мы с Кэлом втащили вверх на веревке угощения для праздничного пикника, в том числе – идеальный кислый лимонад, который сами приготовили. А потом сидели рядышком на старом одеяле и ели сэндвичи с вареньем.

– Спорим на пятак, что Сету тоже захочется в наш дом – теперь, когда все готово, – сказал Кэл, опираясь на локти и любуясь своей работой.

– Надо бы лестницу поднять, – сказала я, испугавшись, что придется делиться с братом лимонадом.

Кэл улыбнулся моей идее, высунулся в отверстие в полу, втянул лестницу наверх и сложил грудой на полу.

Я наслаждалась ощущением отрезанности от мира и осознанием того, что рядом со мной – только добрый Кэл, а значит, я в полной безопасности, и оказывается, дело тут совсем не в лимонаде. Я впервые в жизни задумалась над тем, какое это, оказывается, блаженство – быть там, куда Сет не доберется, и, задумавшись над этим, где-то в глубине своей сестринской души, в такой глубине, которой я и назвать бы не сумела, – осознала, что боюсь своего младшего братика. Я слушала все церковные проповеди о тьме – о Сатане, грешниках и змеях, – но тогда я была еще слишком мала, чтобы понимать что-нибудь про тьму, которую несет с собой Сет, тьму, с которой, возможно, некоторые дети рождаются на свет и потом всю жизнь пытаются отменить правила, по которым условились жить все остальные. Единственное, что я знала,

лежа на спине на одеяле и слушая, как жует рядом Кэл и щебечут у нас над головами воробьи, так это глубокую благодарность за то, что Сет не сможет все это испортить.

Мы с Кэлом уснули в домике, как две птицы, построившие себе гнездо и отдыхающие после тяжелой работы, довольные тем, что теперь кошки до них не дотянутся.

Когда в дом на дереве ударился первый камень и разрушил наш покой, мы резко и синхронно подскочили и сели на одеяле. Только несколько минут спустя, когда прилетел второй камень, мы, ословелые ото сна, сообразили, что происходит.

– Сет, – со вздохом произнес Кэл и стиснул зубы.

Мы оба молчали и не шевелились – не то чтобы прятались, а просто не хотели ему отвечать и надеялись, что он уйдет. В стену ударился еще один камень, потом еще один. Когда от пятого раскололась доска, Кэл наконец вскочил на ноги и заорал вниз Сету, чтобы тот прекратил.

– Дайте мне залезть! – прокричал в ответ Сет.

– Нет! – отказал ему Кэл.

– Дайте мне залезть, щас же! – повторил Сет, и в стену прилетел новый камень.

Мой брат был невысокий, но жилистый и славился мощным броском. В бейсбольных матчах на городском поле его мяч не мог отбить ни один бэттер, а на ярмарке округа Ганнисон Сет сшибал весь ряд бутылок и каждый год выигрывал призовую жвачку.

Кэл снова отказался, и Сет внизу у дерева все сильнее распалялся от злости и обзывал Кэла словами, за которые мама, услышь она его сейчас, вымыла бы брату рот хозяйственным мылом. Хотя ему было всего десять, а Кэлу восемнадцать, Сет не испытывал никакого уважения к разнице в возрасте – ни сейчас, ни когда-либо прежде. С раннего детства убежденный в том, что имеет верное представление обо всем, и вечно готовый броситься отстаивать свое мнение, Сет твердо решил никогда не обращаться к двоюродному брату за советами по мальчишеской жизни или устройству мира в целом. Во дворе, в полях или в саду он вечно бежал впереди Кэла, выхватывал у Кэла из рук инструменты, если считал, что тот работает слишком медленно и сам-то он справится куда лучше. А когда Кэл подшучивал над ним и поддразнивал его, как делал бы родной старший брат, Сет приходил в такую ярость, которая стирала разницу в росте и летах и вынуждала Кэла дать отпор или отступить. Кэл быстро понял, что Сета лучше не сердить, и именно благодаря этому его решению между ними сохранялась какая-никакая родственная связь.

Я сидела на полу нашего домика из досок и теребила разлохматившийся край корзинки для пикника – не знала, что теперь делать. Ведь это была моя идея – поднять веревочную лестницу и отрезать Сету путь наверх. Я не могла допустить, чтобы вся сила последовавшего столкновения пришлась на Кэла.

– Ты говорил, что наш домик дурацкий! – крикнула я оттуда, где сидела, не зная точно, преодолеют ли мои слова всю высоту ствола, и тайно надеясь, что не преодолеют. Если в нашей семье и был человек, который противоречил Сету еще реже, чем Кэл, то этим человеком была я.

Едва я это крикнула, как сразу поняла: я совершила ошибку. Кэл резко повернулся ко мне и быстро поднес палец ко рту: как будто, если он наложит знак молчания на собственные губы, из моих слова тоже перестанут течь рекой.

– Тори?! Ты тоже, штоль, там, черт тя за ногу?! – крикнул Сет, и ярость, смешанная с удивлением, катапультировала его голос напрямик в отверстие в нашем полу.

Я думала, он знает, что я в домике с Кэлом. Ведь мы же его вместе строили. Но я вдруг почувствовала себя виноватой из-за того, что нахожусь здесь, хоть и не могла понять, в чем моя вина. В той же степени, в какой Сет отказывался признавать старшинство Кэла и спрашивать его советов, я в свои одиннадцать обращалась к старшему кузену буквально по любому поводу. Если что-то устраивало Кэла, значит, это годилось и для меня, потому что он был мудрым и

добрым, и мне нравилось, как его глаза изгибались в два маленьких полумесяца, когда я делала что-нибудь хорошее или смешное. Он был для меня компасом, который не соврет.

– Не говори ничего, – прошептал Кэл, опускаясь на корточки. – Так будет только хуже.

– Почему? – спросила я.

– Да он ревнует, вот почему, – сказал Кэл.

– Ревнует из-за домика, про который сам говорит, что он тупой? – спросила я.

– Ревнует тебя ко мне, – прошептал Кэл.

Он сел рядом со мной на одеяло и несколько раз поменял положение, устраиваясь получше, как будто говорил: “Давай просто переждем, сядем так, чтобы удобно было ждать”. Сет тем временем продолжал выкрикивать мое имя, иногда прерываясь для того, чтобы стукнуть по дереву упавшей веткой или выстрелить в нас из воображаемого пулемета, а еще, судя по кряхтению и глухим ударам внизу, – предпринять тщетные попытки вскарабкаться по широкому, без единой веточки, стволу.

Я никогда прежде не думала, что способна разбудить в ком-нибудь ревность. Ревность или зависть, как учили нас мама и Писание, были в глазах Господа сродни злости и даже убийству. “Зависть – гниль для костей”, – говорится в притче. “Иисуса распяли из зависти”, – говорил в своей проповеди преподобный Уитт. Если я, неказистая и неприметная, как мышка, могла вызвать в ком-то зависть, значит, это чувство могло вспыхнуть из-за кого угодно. Я понимала, что нахожусь в опасной близости от чего-то ужасного, и понятия не имела, как там оказалась. А Сет все выл и выл внизу, выкрикивая мое имя, как собака, которая лает, требуя свою добычу.

Мы с Кэлом молча просидели так час или больше, и все это время Сет не унимался. Когда солнце начало свой медленный летний спуск по западному горизонту, за нами пришел отец – напомнить, что пора кормить скотину.

– Это че тут такое делается? – рявкнул он, подойдя к дереву, и только тогда Сет наконец умолк.

Мы с Кэлом выглянули через дно домика – посмотреть, как Сет получит по заслугам.

– Ниче, – ответил Сет, уставившись в землю и пнув камень.

Его взмокшие волосы торчали во все стороны, как ветки полыни.

– А по-моему, я все-таки че-то слышал, – сказал отец, сунув руки глубоко в карманы грязного комбинезона, – в такой позе он стоял всегда, когда пытался в чем-то разобраться.

– Че-че! Не пускают меня в свой тупой сарай, – заскулил Сет.

– А свинарник сам себя выгребет, пока ты тут в домики играешься? – спросил отец. – Ну-к давай, бегом.

Отец смотрел, как Сет, потерпев поражение, плетется к свиньям. Я не могла понять: он стоит, погруженный в мысли о сыне, или просто хочет убедиться, что тот идет именно туда, куда было велено, но мы очень долго ждали, пока отец наконец перестанет смотреть в сторону Сета и велит нам слезать с дерева.

Веровочная лестница под моим ничтожным весом закручивалась и болталась из стороны в сторону, пока отец не ухватился за нее внизу и не натянул, – и тогда я спустилась прямо в его подставленные объятия. Мне нечасто доводилось оказаться в объятиях отца, поэтому я воспользовалась случаем и обхватила руками его шею, уткнулась лицом ему в плечо и вдохнула его запах. Я даже оплела тощими ногами его талию, пока Кэл сползал по лестнице с корзинкой и одеялом под мышкой.

Что-то в том, как отец отцепил меня от себя и грубо опустил на землю, и в жестком тоне, которым он сказал, что мы бы не умерли, если бы пустили Сета к себе, напомнило мне одно из многих маминых наставлений, из книги Иоанна: “Любишь Бога, люби и брата”. Она часто напоминала нам, что мы грешим и каемся не по отдельности, а вместе. Я с ранних лет знала, что между мной и Сетом существует таинственная связь, и связь эта – навечно. Отец

зашагал прочь, а я стояла там, маленькая растерянная девочка под домом на дереве, теперь слегка разрушенным, и даже предположить не могла, как низко мы с братом в конце концов падем.

Сет проревел мотором родстера в последний раз, и тут я услышала удар кухонной двери и гневный голос отца во дворе. Дверь хлопнула еще раз и спустя несколько минут – опять: видимо, сначала в дом ворвался отец, а за ним – Сет. Прозвенел мой будильник, и я поднялась, оделась и поковыляла через тихий холодный дом на кухню. Пока я готовила завтрак, лодыжка болела, но я продолжала надеяться, что травма несерьезная. Если я не смогу ходить, то как же предприму попытку отыскать Уила или хотя бы обнаружить доказательства того, что он уехал или что он остался, и как пойму, все ли мои надежды быть с ним вместе погибли или еще не все. Мужчины тихо входили один за другим в освещенную лампой кухню, избегая встречаться глазами друг с другом или со мной. Приборы позвякивали о тарелки: это разрезали ветчину, разминали по тарелке яичницу, поглощали и то, и другое. Сет вышел из кухни первым, за ним – Ог, потом отец, и я наконец осталась за столом одна и выдохнула с облегчением: можно закончить завтрак и убрать со стола в одиночестве. Чем сильнее они злились друг на друга, тем меньше внимания обращали на меня, а мне только того и надо было, чтобы отыскать Уила.

Я домывала посуду, когда в коридоре раздался скрип инвалидного кресла дяди Ога. Чем больше веса он набирал, тем сильнее стонало под ним кресло и тем тяжелее ему давалось передвижение по дому. Я готовилась к тому, что в один прекрасный день кресло разломится пополам, дядя с проклятьями рухнет на пол и колеса разлетятся во все стороны, наконец освободившись от неприятной необходимости вечно сопровождать Ога.

Учительница однажды рассказала мне, что у президента Рузвельта была инвалидная коляска, вроде бы точно такая же, как у Ога, с деревянной спинкой и двумя длинными палками со стопами на концах – будто собственными неподвижными ногами. Рузвельт никогда не позволял себе фотографироваться или показываться на публике в этом кресле, рассказывала учительница, и до того успешно поддерживал благополучную картинку, что слухам о его инвалидности почти никто не верил. Он выглядел всегда так по-президентски на газетных фотографиях и так впечатляюще и красноречиво выступал по радио, а на парадах и в торжественных процессиях даже сам сидел за рулем прекрасного автомобиля. До того как Ог вернулся с войны, искалеченный и злой, я в жизни не видела ни одного инвалида. Новый Ог был ничуть непохож на старого, и еще меньше был он похож на единственного президента, которого я знала. Прошло немало времени после того, как и Рузвельт, и Ог умерли и инвалидные коляски перестали делать из дерева, когда я увидела одну из двух существующих фотографий президента в его кресле и подумала, сколько же ветеранов войны, безногих и несчастных, как Ог, страдали бы чуточку меньше, если бы президент не стыдился своей инвалидной коляски и не скрывал ее.

Я стояла на одной ноге и вытирала посуду, когда услышала, как Ог врезался в стену и выругался. Я обернулась и увидела, как он переваливает через порог кухни, удерживая в одной руке костыли, а другой пытаясь двигать коляску. Наши взгляды встретились, но ни он, ни я не знали, как реагировать на такой не свойственный ему жест доброй воли.

– Вот, – буркнул он, бросив костыли на пол, а потом задом выкатился из дверного проема и поехал прочь по коридору.

Этих костылей я не видела с тех пор, как дядя Ог вернулся с войны другим человеком.

Я вспомнила, как в тот день мы поехали в Монтроуз, одевшись во все самое лучшее, – это было тем же летом 1942 года, когда мы с Кэлом построили дом на дереве. Мне не терпелось снова увидеть дядю, и я вся взмокла и извертелась, зажатая между Кэлом и Сетом на заднем сиденье большого седана, который отец одолжил у соседа, мистера Митчелла. Отец вел машину, а тетя Вив на том же длинном переднем сиденье взволнованно болтала с мамой, и ее

тщательно накрученные завитки подпрыгивали, как пружинки. Я представляла себе, как Огден и его непоседа брат выйдут из поезда, оба в своей красивой солдатской форме, и будут вертеть головами, оглядывая платформу, пока ясные синие глаза Ога наконец не вспыхнут при виде нас, его новой семьи, которая так рада его возвращению домой. Я представляла себе, как Ог обхватит тетю Вивиан за талию, прижмет ее к себе и поцелует в губы – как делал тогда, в саду, где я застигла их всего за несколько дней до его отъезда на войну в Европу, и спина у нее была тогда так грациозно изогнута – совсем как ствол ивы.

До того как война поспешила забрать Огдена сразу после их с Вив свадьбы, мы знали его совсем недолго. Но в тот день это не помешало нам выглядеть так, будто мы сошли с обложки “Сатердей ивнинг пост”: тесно прижимаясь друг к другу на платформе, мы готовились принять их с Джимми как родных. Когда черный локомотив показался вдали и стал расти на глазах, мне уже не нужно было никакой иной причины, кроме смутного представления о патриотизме и легенд из популярных журналов, чтобы обождать Огдена. Он был герой войны, кинозвезда, гигант. К тому моменту, когда поезд с металлическим скрежетом начал медленно тормозить перед нами, я довела себя до такого взвинченного состояния, что можно было подумать, будто по ступенькам вагона сейчас спустится сам Рузвельт.

Когда Огден появился в дверном проеме, я в ту же секунду поняла, что меня обманули. В голове все затуманилось от усилия разобраться, кто же этот обманщик, и единственное, до чего мне удалось додуматься, – да сам же Огден меня и перехитрил: вот этот вот одноногий солдат, который стоит один-одинешенек, вцепившись в пожелтевшие деревянные костыли, и тусклые глаза зыркают из-под солдатской шляпы, которая громоздится у него на голове, как опрокинутая лодка.

Увидев его, Вивиан ахнула и спрятала лицо на плече у моей мамы. Мама стряхнула ее с себя и торопливо выпрямила: схватила за оба плеча и развернула их в нужную сторону, будто направляя тяжелый плуг. Она сурово шепнула в завитки Вивиан:

– А ну не смей!

Кэл с отцом переглянулись и бросились помогать Огу. В ответ на их протянутые руки он взмахнул одним из костылей, едва не залепив в лицо Кэлу, и, не удержавшись, завалился набок на дверной косяк.

– Уберите свои чертовы руки, – пробормотал он себе под нос.

Кэл с отцом отступили, и все мы замерли, онемели и смотрели, как он неуклюже спускается по ступенькам поезда и поворачивается к нам спиной. Я помню стон тети Вив и глухой удар неожиданных этих костылей о деревянную платформу, и еще один, и еще, будто биение медленного, больного сердца, – все время, пока Огден ковылял прочь по платформе. Я смотрела на изможденные лица солдат, вереницей выбирающихся из поезда. Ни один из них не был тем Огденом, которого я помнила. Ни один из них не был Джимми.

Когда мы догнали Ога, он стоял на тротуаре перед вокзалом, уставившись в землю перед собой. Отец подогнал машину, и вся семья забралась внутрь. Мы ждали, пока Ог к нам присоединится, – ждали так долго, что отец выключил двигатель, и теперь слышны были только всхлипывания тети Вив. Наконец мама вышла из машины и как-то уговорила его устроиться рядом с ней на переднем сиденье. За всю дорогу домой никто не проронил ни слова. Вивиан сидела, стиснутая между мной и Кэлом, и немигающими глазами изумленно смотрела на неподвижный затылок мужа. Я положила руку ей на колено, и она ухватилась за нее, как за спасательный трос.

– На все воля Божья, – ответила мама, когда на следующее утро тетя Вив ворвалась в слезах на кухню с тирадой о своем загубленном воине.

Вив, ничуть не заботясь о том, чтобы говорить потише, стонала и спрашивала, почему же, раз Ог отныне ненавидит жизнь и все, что с нею связано, он просто не погиб на поле боя

и не бросил свое тело прямо там, на берегу, рядом с телом Джимми? Мама поставила на стол две кружки кофе и велела, чтобы Вив села.

Всякий раз, когда я слышала, как мама упоминает волю Божью – а слышала я это очень часто, – я думала так: Бог что хочет, то и делает. Захочет – и позволит молодому солдату умереть на руках у старшего брата. Захочет – сделает войну, жестокость и человека, которого невозможно узнать. А объяснять Бог ничего не захочет.

Я прохромала по кухне и подняла с пола старые костыли, которые швырнул мне Ог. Я сунула их под мышки и попробовала пройтись.

Захочет Бог – и сорвет твою маму, двоюродного брата и тетю с земли, как те персики, которые кто-то поторопился сорвать с ветки раньше срока.

Я выключила свет в кухне, чистую посуду по шкафам расставлять не стала, надела темно-синее шерстяное пальто, висящее на крючке у задней двери, ослабила шнурки в ботинке, чтобы втиснуть туда перевязанную и распухшую ногу, и поскакала на костылях кормить свиней.

Захочет – и сведет на перекрестке Норт-Лоры и Мейн-стрит двух незнакомцев и укажет им путь к любви. Но сделать так, чтобы это было просто, не захочет.

Захочет – жизнь отнимет, захочет – даст, а захочет – перевернет жизнь с ног на голову. И не захочет предупредить тебя о том, что будет дальше.

Когда с кормежкой было покончено и по долине раскинулись первые объятия утреннего солнца, я огляделась по сторонам и убедилась, что меня никто не видит. Забралась на велосипед, аккуратно пристроила костыли поперек руля и, не тратя времени на то, чтобы подумать, захочет Бог или не захочет, отправилась на поиски Уилсона Муна.

Глава пятая

Отправляясь на поиски Уила, я была готова к трудностям, но уж никак не ожидала, что одной из них станет Руби-Элис Экерс.

Руби-Элис жила в доме выцветшего коричневого цвета на густо поросшем деревьями треугольном участке земли неподалеку от нашей фермы. Хоть она и была нашей ближайшей соседкой, но, поскольку ходила с вечно кислым выражением лица и к тому же носила не снимая черную вязаную шапку на бесцветных кудрявых волосах и жила с целым зверинцем бродячих животных, мама считала ее слишком чудной и не заслуживающей внимания доброго христианина. Мы почти каждый день проходили мимо ее дома, но никогда не заглядывали в гости и не приносили по-соседски пирога. Мама запрещала нам смотреть в сторону Руби-Элис, когда та проезжала мимо нас по городу на своем дряхлом черном велосипеде с плетеной потрепанной корзинкой, болтающейся на руле. За ней водилась привычка пристально смотреть на людей и раскрывать губы, будто приготовившись пролаять какую-нибудь грубость, но в итоге так ничего и не сказать. Вся Айола считала ее сумасшедшей, но вполне безобидной, поэтому ее никто не трогал.

Однажды за ужином – еще в те времена, когда место за столом, позже захваченное Огом, занимала мама, – Сет с горящими глазами рассказал, как на нашей общей дороге бросил в старуху на велосипеде несколько камней, потому что она на него таранилась.

– Одним попал прям в точку! – хвастался он, ухмыляясь набитым печеньем ртом. – Но эта чиканутая как будто ничего и не почувствовала – покатила дальше!

Я думала, мама отругает Сета за жестокость по отношению к соседке или, по крайней мере, за то, что он разговаривает с полным ртом, но она как ни в чем не бывало продолжала есть ветчину – маленькими благопристойными кусочками.

– Она – черт! – расхохотался Сет.

Отец и Кэл выжидательно посмотрели на маму, но она и на этот раз ничего не сказала. И Сета понесло: его рот был как собака, спущенная с поводка и ощутившая нежданную-нежданную свободу.

– Черт во плоти, – радовался он. – И живет вон там, в сосенках!

Он стал шевелить указательными пальцами у себя над ушами, как будто это рожки, и тут мама наконец на него прикрикнула:

– Чтобы я не слышала в этом доме разговоров о Сатане!

Некоторое время спустя мы с мамой встретили Руби-Элис на Мейн-стрит: она проехала мимо нас на велосипеде. Я не удержалась и посмотрела на нее: а что, если она и в самом деле Сатана в таком неожиданном обличье, и интересно, смогу ли я это разглядеть? То, что она была страшна как черт, в этом сомнений не было. Из-под черной шапки торчали седые спутанные кудряшки. Морщинистая кожа отдавала тошнотворным голубым оттенком. Один глаз так глубоко запал в глазницу, что казалось, будто его нет вовсе. А второй – синий как лед, дикий и вытарщенный – на одно тревожное мгновение встретился со мной взглядом.

Старуха уставилась на меня и, пролетая мимо нас, приоткрыла тонкие губы, но я услышала лишь скрип ее велосипеда и шорох камешков, разлетающихся из-под колес. В ее плетеной корзинке дрожала маленькая потрепанная чихуахуа, черная и с острыми, как у летучей мыши, ушами.

– Ты на нее посмотрела? – сурово спросила мать, остановившись, ухватившись рукой за мой подбородок и пристально глядя на меня в глаза.

– Нет, мэм, – сказала я и, едва успела это проговорить, как тут же сама себя спросила, зачем соврала.

– Бедная сумасшедшая, – сказала мать, отпустила мой подбородок и, ухватив меня за руку выше локтя, продолжила путь в направлении продуктовой лавки Чапмена. – Господи, помоги.

Мать ускорила шаг, как будто хотела убежать от чего-то опасного, хотя Руби-Элис уже исчезла из виду, и, чуть накренившись, свернула с Мейн-стрит. Я едва поспевала за матерью и все ломала голову: если сумасшедшая – Руби-Элис Экерс, то почему помощь Господа нужна нам, а не ей?

Я принялась тайком молиться за Руби-Элис. Каждый раз, когда она появлялась, я мысленно проговаривала одну и ту же коротенькую тайную молитву, торопливо, как будто в одно слово, – чтобы как можно скорее покончить с нарушением маминых наказов: *Господи Помози Руби Элис Экерс Аминь*. Я считала эту фразу достаточной и предельно точной, потому что в ней заключалось и безумие, и Сатана, и голубая кожа, и все остальное, что причиняло ей страдания, и к тому же это можно было произнести очень быстро и успеть отправить в сторону небес раньше, чем заметит мать. Скрывать молитву от матери было странно – ведь именно молитв ей вечно не хватало от нас с мальчиками, но ведь она давно определила Руби-Элис как человека, недостойного спасения. Не знаю, с чего мне взбрело в голову, что я одна способна вернуть соседке Божью милость, но я верила в это со всем жаром своего юного сердца. Даже в тот момент, когда она выглянула из-за дерева и пристально посмотрела на меня, выходящую из церкви на неверных ногах и с затуманенным взором после похорон своих родных, даже в тот момент в моей ватной от горя голове промелькнуло: *Господи Помози Руби Элис Экерс Аминь*. Преподобный Уитт послал своих сыновей, чтобы те прогнали ее подальше от церкви. Одно из немногих моих отчетливых воспоминаний того темного дня – как я смотрю на нее, а она вскакивает на велосипед и уезжает прочь.

К той осени, когда мне исполнилось семнадцать, я давно забросила свои детские молитвы о здравии Руби-Элис и, хотя мы по-прежнему жили по соседству, редко о ней вспоминала. Я не видела ее с середины лета, когда она промчалась мимо нашего придорожного ларька с персиками, не сводя с меня своего странного взгляда и чуть не сведя с ума Рыбака, который зашелся бешеным лаем. Я успокоила собаку, извинилась перед покупателями, приценивающимися к ранним персикам, и больше о старухе не вспоминала.

В то утро, когда я, пристроив на руль велосипеда костыли, отправилась на поиски Уилсона Муна и сначала покатила по длинной подъездной дорожке, а потом стала выруливать с нее на пыльную дорогу в город, передо мной, будто видение в бледном свете, внезапно возникла Руби-Элис Экерс. Она стояла на дороге – без велосипеда и без черной шапки. Седые волосы как-то отчаянно топорщились пружинками вокруг мертвенно-бледного лица. Ноги торчали из потертых кожаных сапог как две белые зубочистки. На ней было выцветшее муслиновое платье, подрубленное на уровне костлявых колен, а поверх него – слои вязаных кофты, причем все – разных оттенков зеленого, настолько близких к цвету растущих вокруг сосен, что середина фигуры Руби-Элис практически сливалась с фоном, и видны были лишь обрубленные верх и низ, до того бледные, почти бесцветные. Ввалившийся глаз рассматривал меня так, будто видит впервые, а выпученный тарачился с укором: казалось, она ждала меня так долго, что теперь мое появление ее рассердило.

Пытаясь ее объехать, я едва не упала с велосипеда. Она стояла, не сводя с меня взгляда и не двигаясь с места. Шишковидный глаз пробежался по моим костылям и забинтованной лодыжке. Она пощелкала языком и покачала головой.

Мне и в голову не пришло остановиться. Женщина, о которой я так тревожилась в детстве, теперь стала для меня, как и для всех остальных, не больше чем частью пейзажа. В эту секунду я восприняла ее лишь как досадную помеху на пути – вроде коровы или перегородившего дорогу упавшего дерева.

Когда она протянула ко мне руки, я испуганно отпрянула: две белые, как снег, ладони с растопыренными скрюченными пальцами ткнулись в меня, будто для того, чтобы столкнуть на землю. Я увернулась и помчалась прочь, изо всех сил крутя педали. На ходу я заметила ее дряхлый черный велосипед, брошенный среди мертвых маргариток в придорожной канаве.

Теперь, оглядываясь назад, я испытываю стыд из-за того, что не остановилась тогда и не спросила, не нужна ли ей помощь. Я была настолько сосредоточена на поисках Уилсона Муна, а может, до того приучена игнорировать Руби-Элис – как если бы она была бродячей собакой, что мне даже в голову не пришло: а что, если она поранилась, или ей отбило память и она не соображает, где находится? И уж конечно, я не подумала о том, что, возможно, это она предлагает мне помощь, но не знает, как ко мне подступиться, – точно так же, как я не знаю, как подступиться к ней.

В городе Уила нигде не было. Айола только начинала просыпаться, стояла тишина. Полдюжины горожан шло на работу или в кафе. Мистер Джерниган подметал тротуар рядом со своим заведением. По Мейн-стрит пронеслось два автомобиля и грузовик молочника. Я объехала на велосипеде центр города дважды: боялась, что больше двух кругов привлечет ненужное внимание. Все это время я надеялась, что Уил меня увидит и появится в дверях или окне и улыбнется, подзывая к себе рукой. Я представляла себе, как он выглядит теперь, когда отмылся у Данлэпа и, возможно, раздобыл себе чистой одежды, и сердце мое колотилось еще быстрее. Так и не обнаружив нигде его следов, я прислонила велосипед к стене ночлежки, приладила под мышками по костылю, сделала глубокий вдох и стала с трудом подниматься по деревянным ступенькам. Входная дверь была открыта и подперта коричневым камнем. Я заглянула внутрь, втянула запах кофе, бекона и мужчин, но увидела за дверью лишь длинную обшитую деревом прихожую, вдоль которой тянулись скамьи, тут и там висели куртки и валялись облепленные грязью ботинки. Я судорожно соображала, чем бы объяснить свое вторжение.

Бородатый мужчина примерно того же возраста, что и мой отец, только с более прямой спиной и широкими плечами, вошел в прихожую и сел на скамью. Он потянулся за ботинками, натянул один на правую ногу и, насвистывая спокойную мелодию, стал завязывать шнурки. Потянувшись за левым ботинком, он бросил взгляд в дверной проем, и губы его растянулись в пугающей улыбке. Он издал протяжный высокий свист сквозь зубы, похожие на зерна кукурузы, оглядел меня с ног до головы и протянул:

– Так-так, это что же у нас тут такое?

Каждую осень постоялый двор Данлэпа заполнялся батраками, которые приезжали в поисках работы на заготовку сена или сбор урожая, а также пастухами, надеющимися, что их наймут собирать стада на горных лугах и спускать их в долину до первого снега. Такой наплыв людей был всем на пользу, хотя некоторые из приезжих, я слышала, доставляли большие неприятности. Вот и этот, с его желтой улыбкой и голодными глазами, заставил меня пожалеть, что сейчас не зима.

Я, хватаясь покрепче за костыли, пробормотала что-то невнятное. Из дома доносился звон посуды, и я догадалась, что мистер и миссис Данлэп – в кухне, наводят порядок после завтрака.

– Я пришла помогать готовить обед, – с удивительной легкостью соврала я.

– Они на кухне, солнышко, – ответил желтозубый как-то чересчур мило. Я опять набрала побольше воздуха, перевалила через порог и постучала костылями по длинной прихожей, все время ощущая на себе его взгляд. – Только помощи-то, как я погляжу, будет немного, – добавил он, и я, оглянувшись, увидела, как он с ухмылкой кивает на мою перебинтованную лодыжку.

– Справлюсь, – ответила я, осмелев от собственной находчивости и от первых шагов по запретному зданию ночлежки.

Внутри я ожидала встретить еще мужчин, но, к моему облегчению, все то ли ушли в моечную, то ли разбрелись по утренним работам. В темной и сырой гостиной стояло два потер-

тых кожаных дивана, и вокруг теплой печки-буржуйки были хаотично расставлены деревянные стулья. Рядом с кирпичной приступкой перед печью красовалась пузатая медная миска с широким ободком, к которой прислонили дощечку с написанными от руки словами: “Пожалуйста, пользуйтесь плевательницей”. На стене висела голова оленя с шестиконечными рогами, пустыми черными глазами вззирающая на происходящее внизу. Я пошла на звук посуды.

Когда я заглянула на кухню, миссис Данлэп, тихонько напевая, уже заканчивала вытирать красным клетчатым полотенцем тарелки, оставшиеся после завтрака. В противоположность закоптелой гостиной, в кухне были чистые белые стены и высокий ряд обращенных на восток окон, излучающих утренний солнечный свет. Миссис Данлэп была бледной высокой женщиной и имела форму колокола. Одетая она была в простое белое платье из хлопка и джинсовый фартук, свободно завязанный на поясе и шее. Светло-каштановые волосы были убраны под темно-синий платок с двумя узлами по бокам, концы которых торчали в стороны как дополнительная пара ушей. Она так глубоко погрузилась в свои мысли и мелодию, которую напевала, что не видела меня в дверном проеме, пока я нарочно не откашлялась.

– Ой! Тори, детка. Я тебя не заметила.

Миссис Данлэп схватилась за сердце и поприветствовала меня теплой улыбкой, отчего ее маленькие карие глазки ласково прищурились. Тут она наконец заметила мои костыли – опять подскочила от неожиданности, бросила посудное полотенце и поспешила выдвинуть мне стул.

– Что с тобой приключилось? Ну-ка давай садись.

Я и забыла, какая дружелюбная женщина миссис Данлэп: с тех пор как умерла мать, я с ней едва пересекалась, но теперь вспомнила, как долго и крепко она обнимала меня на похоронах и какое множество запеканок и пирогов оставила у нас на крыльце в первые месяцы после этого.

– Все в порядке, миссис Данлэп, – сказала я, опускаясь на стул и укладывая костыли на пол. – Просто лодыжку вывихнула. Всё эти сусличьи норы, знаете.

– Ох, знаю, – сочувственно закачала она головой. – Сама в них попадалась. Мерзкие твари. Бедняжка.

Она подтащила стул и села со мной рядом.

– Чем тебе помочь? И зови-ка ты меня Милли, детка, просто Милли.

С тех пор как я вошла в ночлежку, ложь лилась из меня так легко, что я, раскрыв рот, приготавливалась к еще одной, которая объяснит, зачем я явилась. Но ничего подобного не произошло. Я сидела и крутила деревянные пуговицы на пальто. Милли нагнулась поближе и посмотрела на меня, выжидательно задрав брови.

Не сумев изобрести очередную ложь и растаяв от Миллиного тепла, я сглупила и рассказала все как есть.

– Я вот хотела узнать, не остановился ли у вас парень по имени Уилсон Мун, – спросила я робко, и оттого, что я впервые произнесла вслух его имя, сердце в груди сделало кувырок.

По изменившемуся лицу Милли я сразу поняла, что совершила ошибку.

– Этот, что ли, краснокожий? – спросила она, поморщившись и отодвигаясь, будто от ужасного запаха. – Тори, золотце, объясни мне, с какого перепугу тебе мог понадобиться этот грязный индеец?

Я была не в силах произнести хоть слово. Я в жизни не видела индейцев. О них мне было известно лишь то, чему нас учили в школе: что они были ужасно жестоки к поколению моих дедушки и бабушки, когда белые пытались цивилизовать Запад, и что правительство давно переселило их в такие места, где они уже никому не могут причинить вреда. Я вспомнила, как отец и Сет накануне говорили, что Уил – мексиканец. Если он индеец, они станут презирать его еще больше. Я просто поверить не могла, что это правда.

Милли ждала ответа и смотрела на меня с возрастающим подозрением, которое начинало уже граничить с отвращением.

– Я... Мой... – заикаясь, начала я. – Папа где-то слышал, что парень с таким именем вроде бы ищет работу. А нам в ближайшие две недели нужно очень много рук. Самого-то парня я не знаю, мне просто имя его назвали и велели привести.

Милли выдохнула с облегчением.

– Ну, помяни мое слово, папе твоему этот парень ни к чему. Слушай, да я уверена, что Рыбак его на милую к вашему саду не подпустит! – воскликнула она с улыбкой, довольная своим остроумным намеком на то, что Уила даже собака не сочтет приличным человеком. – Мы только на этого краснокожего глянули раз вчера вечером – и тут же вышвырнули.

Я ахнула: как я ни старалась не выдать тревогу, это было почти невозможно.

– Постояльцы наши были бы жутко недовольны, начни мы пускать сюда индейцев, я уж молчу про болезни, которые они всюду разносят, – при этих словах миссис Данлэп поежилась, как будто говорила о нашествии крыс. – Так что скажи своему папе, мы с радостью повесим объявление, что ему нужен работник, но пусть это будет кто угодно, только не тот парень. Да и вообще он наверняка уже так далеко убрался, что не догонишь. Ну, – она хлопнула меня по ноге, очевидно считая своей единомышленницей. – По крайней мере, будем на это надеяться, правда?

От ее прикосновения меня замутило. К счастью, тут как раз вошел в кухню ее муж – и очень кстати, потому что я была больше не в состоянии продолжать разговор об Уилсоне Муне. Мистер Данлэп прижимал к груди охапку зеленых початков кукурузы, и Милли бросилась ему на помощь.

– Доброго утречка, Тори. Рад тебя видеть, – сказал он так буднично, как будто я каждый день заглядывала к ним в гости.

Милли не дала мне ответить и заговорила сама – явно чтобы избежать упоминания Уила:

– Мистер Нэш ищет работника на конец урожая персиков, – сказала она и подмигнула мне. – Я пообещала Тори, что мы передадим нашим мужикам.

– С радостью, – отозвался он, срывая первый длинный лист кожуры вместе с подкладкой из шелковистых белых нитей. Мистер Данлэп был крупный и смуглый, и с каждым уверенным рывком кукурузного листа его предплечья раздувались, и на них выступали вены. – Несколько постояльцев скоро заканчивают косьбу. Думаю, кому-нибудь понадобится еще работа.

Я поблагодарила его, мы перебросились несколькими фразами об урожае, о моей лодыжке и о хорошей осенней погоде. Как только мне показалось, что это уже не будет невежливо, я подобрала с пола костыли, сказала спасибо и поковыляла через дом обратно к выходу. Теперь гораздо сильнее, чем ушибленная нога, меня терзала собственная ложь и то, с каким презрением относятся к Уилу Данлэпы, – а если парень в самом деле индейского происхождения, с подобной нетерпимостью он наверняка столкнется еще не раз. Выбравшись на крыльцо, я почувствовала, что задыхаюсь в своем теплом пальто. Я прислонила костыли к перилам и чуть ли не в панике принялась расстегивать пуговицы, чтобы поскорее выбраться на воздух. Наконец я сбросила пальто и тяжело перевела дыхание, вся мокрая от пота.

Вопрос происхождения Уила тревожил меня не так сильно, как тот почти непроверженный факт, что он покинул город. После того как его прогнали Данлэпы и моя семья встретила его с такой враждебностью и угрозами, я не могла придумать ни одной причины, по которой ему бы захотелось остаться в Айоле. Непримечательная девушка вроде меня уж точно не могла заставить его задержаться там, где все остальные ему не рады. Я глубоко вздохнула, взяла себя в руки и с той рассудительностью, какой учила меня мать, поклялась выбросить из головы всю эту ерунду. Уил уехал, и моя жизнь сегодня ничем не отличается от той, какой была вчера – когда я еще не успела заглянуть в его глубокие темные глаза.

Вот только все время, пока я ковыляла до велосипеда и ехала домой, мне приходилось притворяться, что мне удалось себя убедить. Потому что в его глазах я увидела не только муж-

чину совершенно небывалого сорта, но и некую новую часть себя самой, с которой мне теперь совсем не хотелось расставаться.

Глава шестая

Когда я проснулась на следующее утро, события последних двух дней закружились в голове безумным вихрем. Нужно было отвлечься работой, и я заверила себя, что лодыжка, хотя по-прежнему распухая, все-таки уже не настолько плоха, чтобы нельзя было вернуться к домашним делам.

Прежде чем прохромать на кухню готовить завтрак, я вернула Огу костыли. Прислонила их к стене рядом с закрытой дверью его комнаты и подумала о нем на новый лад: каково это – быть Огденом, когда одной ноги лишился на войне, а на второй развилась гангрена, и теперь что это за нога – ни стопы, ни проку; да и все тело, когда-то ловкое и проворное, теперь невылазно в оковах инвалидного кресла. С того дня, как Ог вернулся с войны, его ярость – это, конечно же, шкура льва, под которой прячется ягненок его горя. Вив не скрывала своего недовольства от того, что ее солдат вернулся искалеченным, как ни старалась моя мать уговорить ее не стенать, а подчиниться Божьему замыслу. Когда Вив так внезапно умерла, я сердилась на Ога за то, что он недостаточно по ней скорбел. Но, возможно, для него ее отсутствие означало, что теперь будет одним напоминанием меньше о той, прежней жизни, которой он больше не мог соответствовать. Если я не в состоянии выдержать еще хоть день на этих костылях, каково же было сносить ужас своей послевоенной жизни бывшему искателю приключений?

Я оставила костыли и прокралась к бюро в салоне. За откидной доской письменного стола я обнаружила мамины принадлежности для письма. Аккуратной стопкой лежали чистые бледно-лиловые листы: при жизни матери они были для меня под запретом, а после ее смерти их никто не трогал. Я отделила верхний листок и почти что приготовилась к тому, что мать сейчас рассердится и рубанет рукой у меня перед глазами. Я вытащила из серебряной коробочки безупречно отточенный карандаш и красиво написала: “Спасибо”. Сложив записку, я оставила ее перед дверью Ога, не рассчитывая получить – и действительно не получив – ответ.

В последующие несколько дней у меня было много хлопот. Мы собирали и продавали отличные персики с июля, но самым сладким на западном склоне Колорадо фруктовый сахар становится в холодные ночи и теплые дни ранней осени. Этого бесценного заключительного сбора урожая наши покупатели ждали с особым нетерпением. У отца был особый осенний ритуал: просыпаться по несколько раз за ночь, чтобы взглянуть на термометр: он прекрасно знал, насколько хрупок и ненадежен наш успех. Внезапное снижение температуры всего на пять градусов могло превратить безупречный и прибыльный поздний урожай в болтающиеся на ветках мячики пюре, годящиеся разве что на корм свиньям. Перед нами стояла задача собирать урожай настолько медленно, чтобы наша продукция оставалась свежей всю осень, и при этом успеть снять все плоды до наступления первых заморозков. В ту осень нам пока везло, и заключительный сбор удалось отодвинуть на добрых две недели позже обычного срока, но отец был не из тех, кто верит в долгую удачу, и я видела, что он нервничает. В то утро, когда Сет грохотал на всю округу своим родстером, отец заподозрил, что температура упала на два градуса, а потом еще на один – в то утро, когда я потихоньку вернула Огу костыли, и вот он отдал распоряжение немедленно очистить все деревья. Несмотря на большую лодыжку, я страшно обрадовалась возможности поработать.

Я собирала персики всю жизнь. Это было для меня так же естественно, как дышать. Не могу припомнить такого времени, когда я еще не знала, как, принявшись и легонько прикоснувшись, определить идеальную спелость, как осторожно приподнять и отвернуть персик от стебелька, чтобы не смять нежную мякоть, как разобраться, который из румяных плодов пора везти на рынок, который можно отправлять с доставкой, а который следует есть прямо тут, не отходя от дерева. В отличие от яблока и груши, у персика всего за несколько дней – за три или, может, четыре – наступает тот критический момент, когда плод необходимо сорвать

и съест. Безупречная репутация нашего семейного сада была построена не только на идеальной форме и вкусе персиков, но еще и на том, что мы из поколения в поколение передавали мастерство собирать урожай и продавать фрукты на пике их зрелости.

Повесив на левую руку садовую корзинку и ощущая на лице и на плечах щекотные прикосновения золотых, по форме напоминающих бананы листьев, правой рукой я тянулась к веткам и откручивала персик за персиком, то и дело поднося их к носу, чтобы вдохнуть сладкий аромат. Конечно же, отец был прав. Последние плоды, все до единого, пора было срывать.

Я предпочитала собирать персики в одиночестве в дальнем конце сада, где росли самые старые деревья. Отец собирал на более новом участке рядом с сараем в компании с Рыбаком. Сет занял ряды, растущие вдоль ручья. Ближе к полудню пришли помогать братья Оукли – Холден, Чет и Рэй. Невозможно было представить себе, чтобы они делали это из доброты своих грубых сердец. Ну и точно – позже я узнала, что их отец договорился с нашим папой, что его парни поработают у нас в обмен на то, что папа и Сет помогут им с перегоним скота двумя неделями позже. Это будет работа на два дня – собирать стадо в верховье долины и гнать его вниз через Олмонт и Ганнисон и дальше – на их ранчо неподалеку от Айолы. Прекрасно зная братьев Оукли, папа сказал их отцу, что сделка состоится только в том случае, если от парней не будет неприятностей и помятых фруктов. Они присоединились к Сету на восточной границе сада, и не прошло и двух минут, как до меня донесся запах их “лаки страйков”, матерная ругань и грубые шуточки. То ли они находились так далеко от папы, что он их не слышал, то ли ему настолько сильно была нужна их помощь, – но он закрывал глаза на их дуракаваляние.

Само собой разумелось, что в какой-то момент я прервусь, чтобы к полудню был готов обед. Когда солнце подошло к середине лазурно-синего неба, я отнесла свои наполненные корзины к садовой дорожке, откуда папе будет удобно поднять их в кузов грузовика. Я прохромала мимо Сета и братьев Оукли, не обращая внимания на их приглушенные комментарии и смешки, – и направилась к дому. Подойдя ближе, я увидела, что папа разговаривает во дворе с каким-то незнакомцем. Человек был довольно молодой, с веснушками, на голову выше папы и чуть ли не вполтину шире, одет он был в перепачканный джинсовый комбинезон и широкополую соломенную шляпу. Из заднего кармана у незнакомца свисали выдавшие виды рабочие перчатки. Рыбак приветственно замахал хвостом, но мужчина будто его не замечал. Когда папа увидел, как я иду к дому, он подозвал меня, и мужчина повернул ко мне свое длинное, немного лошадиное лицо.

– Его Данлэпы прислали, – объявил папа и без лишних церемоний указал на мужчину.

Сердце ухнуло в пятки. Руки моего вранья оказались такими длинными – куда хочешь дотянешься! Я ахнула и приготовилась придумать новую ложь, чтобы объяснить, как я оказалась в запретной ночлежке и зачем придумала, будто папе требуется помощник, но не успела я заговорить, как папа продолжил:

– Это они здорово придумали. Помощь нам не помешает.

Он кивнул мужчине, и мужчина кивнул в ответ – так они заключили сделку.

Потом папа повернулся ко мне:

– Платить особо нечем, так что накорми парня как следует.

Я выдохнула, улыбнулась мужчине, который в ответ улыбаться не стал, и сказала:

– А как же!

Когда мужчины набились в кухню обедать, с ними явились и их запахи. Едкая смесь пота и табака, персикового сока и осеннего солнечного света вытеснила аромат еды – даже когда я достала из духовки печенье, даже когда поставила в центр изголодавшегося круга жареную курицу и картошку. Дядя Ог вкатился в кухню с новыми запахами – виски и жевательного табака – и мрачно подъехал к своему обычному месту за столом.

Мужчины приступили к еде, а я продолжала возиться у плиты, стоя спиной к столу: переливала жир из жаровни в сковороду и замешивала мясную подливку для ужина. Папа представил собравшимся за столом человека с лошадиным лицом как Форреста Дэвиса. Ог хмыкнул, молодые люди поздоровались и принялись обмениваться хвастливыми историями и задирали друг друга. Все ели с удовольствием, никто не замечал, что я за стол так и не села, и это меня вполне устраивало.

Я подмешивала побольше муки в подливку и почти не обращала внимания на мужчин, как вдруг Дэвис, который до этого молчал, откашлялся и сказал неожиданно низким голосом:

– Меня тут в ночлежке чуть в одну койку с индейцем не поклади. Слыхали, может, про это?

Я замерла, спина напряглась, рука судорожно сжала венчик для взбивания. Дыхание присело на краешек притихших легких – я прислушалась.

– Спорим, это тот грязный ублюдок, которого ты тогда повалил, Сет, – с набитым ртом сказал один из Оукли – судя по ядовитому тону, Холден.

– Я слыхал, его от Данлэпов-то турнули, – отозвался Сет.

Мне стало интересно, откуда он это знает, кого расспрашивал об этом и зачем.

– Ага, – ответил Дэвис. – Но для начала он в помывочную нам своей заразы нанес. Пробрался как-то, подонок.

Он прожевал и проглотил. А потом прибавил:

– Данлэп его поймал – одежду с веревки тырил. Умотал с целой охапкой.

Забывая подливку, над которой я стояла с занесенной рукой, свернулась и выкипела. Коричневые брызги взметнулись в воздух и обожгли мне большой палец. Я дернулась и с грохотом опрокинула сковороду, пригоревшая жижа вылилась на плиту. Мужчины у меня за спиной умолкли, без сомнения на меня уставившись, но лицо мое после упоминания Уилсона Муна так горело, что я не решилась обернуться.

– Простите, – пробормотала я, схватила с мойки тряпку и принялась вытирать плиту, добавив с поддельным смешком: – Руки дырявые.

Разговор возобновился. Я перестала понимать, кто что говорит, только разобрала, что один слышал, будто этот парень сбежал из тюрьмы на Юге, рядом с одной из резерваций; другой слышал, что не из тюрьмы он убежал, а из школы-интерната; третий утверждал, что это бродячий вор: обработает один город и едет дальше. Шутили о его боевой раскраске и мокалинах, называли безбожным дикарем и степной крысой.

– Небось давно убрался куда подальше, – сказал Дэвис.

– И прально, – проворчал дядя Ог.

– Скатертью дорожка, – отозвался Сет. – Увижу этого краснокожего еще раз – убью.

– Ну, хватит, – впервые раздался голос папы.

Я услышала, как он положил вилку на тарелку и как отодвинул от стола стул.

– Так, парни, давайте-ка уже покончим с персиками.

Мужчины шумной толпой вышли из кухни, унося свои жестокие слова и едкий запах и оставив после себя стол, покрытый крошками, тарелками и куриным остовом, обглоданным так чисто, будто здесь пообедали прожорливые стервятники. Дрожащими руками я принялась убирать тарелки и счищать с них остатки. Я пока не могла осознать вероятность того, что Уил, возможно, и в самом деле индеец и что это должно для меня означать, – куда уж там поверить в то, что он беглый заключенный или вор. Ужасные вещи, которые о нем говорили, казались полной ерундой, но, с другой стороны, а что я на самом деле знала об этом парне, кроме того, что он обаятелен, загадочен и силен настолько, чтобы поднять и нести меня на руках так, будто я совсем ничего не вешу.

Стоя на одной ноге, чтобы дать отдых лодыжке, я наполнила раковину и принялась рассеянно мыть посуду, вспоминая, что чувствовала, когда Уил нес меня по дорожке и я смотрела

в его добрые пронзительные глаза. Я повторяла в голове его рассказ о том, как он ехал в вагоне с углем, и думала, где здесь, интересно, правда, а где ложь. Мужчины, вероятнее всего, были правы в том, что Уил давно покинул Айолу. И все же.

Я вытерла и расставила по полкам посуду, а потом вернулась в свою часть сада и приступила к послеобеденному сбору. За нашей фермой сухая земля рябила пятнами бледно-зеленой полыни, красных дубов и взъерошенных сосен. Группки желтых тополей колыхались там и тут, как маленькие праздники посреди унылой общей картины склона. Несколько орегонских сосен, расправив широкие темные юбки, возвышались надо всем прочим. Солнце палило что было сил, будто ему не сказали, что лето закончилось. И вот пока я стояла в тени сада, где сердце билось особенно ровно, а чувства как нигде обострялись, интуиция подсказала мне, к счастью или на беду, что Уил никуда не уехал. Не знаю, как я это поняла, но я чувствовала, как он наблюдает за мной, пока я тянулась за каждым мягким спелым персиком, нюхала его и откручивала от ветки. Позже он мне расскажет, как послеполуденное солнце отражалось в золотой листве и присыпало мне кожу желтыми блестками; он смотрел, как я вгрызаюсь в спелый персик, как сок стекает по руке и капает с голого локтя; и губы у меня блестели, как будто просили, чтобы он их поцеловал. Он расскажет, что в этот-то самый миг он и осознал, что влюбляется в меня, все сильнее с каждым моим жадным укусом и с каждым взглядом, который я, сама того не зная, бросала на него сквозь косматые деревья.

Надежды на то, что тяжелый труд как-нибудь вытеснит из моей головы Уила, оказались пустыми. Наоборот, весь этот долгий тихий день в саду он один занимал мои мысли. А пока я думала, день незаметно склонился к вечеру. Я наполнила последнюю корзину и двинулась на кухню готовить ужин, как вдруг услышала слева от себя шорох. От неожиданности я подскочила, корзина накренилась, и несколько персиков покатались по траве. Шорох был все ближе, и я узнала в нем тот звук, с каким раздвигают ветки, когда идут через сад, причем не по поросшему травой проходу между рядами посадок, а напрямик через деревья. Разум подсказывал мне, что это приближается олень, но сердце молилось, чтобы это оказался Уил. Я представляла себе, как он возникает из листвы, сначала одно широкое плечо, потом второе, и вот он наконец стоит передо мной, молчит, лицо освещает заговорщицкая улыбка, одна рука вытянута вперед с раскрытой ладонью, будто он просит, чтобы в нее положили персик, но я-то уж пойму, что на самом деле он просит моей руки.

Вдруг я увидела, что сквозь соседний ряд деревьев, в каких-то двадцати футах от меня, пробирается Форрест Дэвис. Он шел решительно, даже с какой-то злобой, словно стремился к определенной цели, хотя, будь это так, он бы воспользовался одной из множества тропинок, ведущих к фермерской дороге, а не лез бы напрямик. Тут он остановился и взгляделся в ряд деревьев, но не в мою сторону, а в противоположную. Дэвис был в рабочих перчатках, но без корзины. Обычно папа не разрешал собирать персики в перчатках, полагая, что прикосновение так же жизненно важно для сбора урожая, как оценка персика на вид и на запах. Я подумала, интересно, неужели папа не позаботился ему объяснить, а может, новый помощник просто не любит следовать правилам. Большая соломенная шляпа Дэвиса была привязана к шее веревкой и лежала плашмя у него на спине. Движения его были быстрые и нервные. Когда он рванул в мою сторону, чтобы осмотреть этот ряд деревьев, его лоб без шляпы оказался просто огромным – широким и выпяченным вперед, что только подчеркивало сходство с лошадьёю, которую создавали его веснушчатые высокие скулы и длинный выпирающий подбородок. Я стояла не дыша и по глупости надеялась, что он меня не заметит. Конечно же, он меня увидел и, увидев, вздрогнул от неожиданности. Наши взгляды встретились на сотую долю секунды. Он тут же перевел глаза куда-то за меня, будто я всего лишь какой-нибудь кролик. Вытянул длинную шею сначала вправо, потом влево, присматриваясь, и наконец резко развернулся, просунул длинные тонкие руки и ноги в ветвистое пространство между двух деревьев и исчез. Он двигался дальше – пауза, шелест, пауза, шелест – пока не удалился настолько, что я перестала его слышать.

Дэвис искал Уила. Я была в этом уверена. Я поехала – не столько от прохладного вечернего ветерка, сколько от короткого, но пристального взгляда, которого меня удостоил незнакомец.

Оказалось, что на Уила охотится не один лишь Дэвис. В холодный предрассветный час на следующий день я помогала папе и Сету развозить персики по домам покупателей и обнаружила у лавки Чапмена два объявления. В них не было ни имени, ни уточнения, в чем состоит совершенное преступление, но два одинаковых написанных от руки плаката, прилепленных по обе стороны от входа, определенно были вывешены с целью поимки Уила: “Разыскивается преступник, смуглая кожа, черные волосы, опасен. Вознаграждение 20 долларов. Обращаться к Мартинделлу”.

Из всех жителей Айолы Эзра Мартинделл был единственным, кто имел хоть какое-то отношение к охране правопорядка. Его дед построил один из первых настоящих домов на Мейн-стрит почти семьдесят лет назад, и с тех пор все семейство Мартинделлов считало своим долгом усаживаться на широком крыльце и следить за тем, что творится в городе. Поскольку никаких других умений у отца Эзры, Альберта, не было, окружной шериф Ганнисон назначил его своим представителем в Айоле. Когда Альберт умер, Эзра унаследовал его значок и начальственную манеру держаться. Как только в 1942 году у нас в городе появилась телефонная служба, главной обязанностью Эзры стало звонить шерифу Лайлу в Ганнисон, если вдруг возникнет какой повод для беспокойства, и поддерживать порядок, пока через полчаса не придут на автомобиле настоящие сотрудники полиции. Меня ужасно разозлило, что люди вроде Эзры Мартинделла могут назначить награду за поимку Уила, опираясь лишь на ложь и домыслы, ну и, может, несколько пропавших предметов одежды, которые наверняка просто сдуло с веревки ветром.

Еще больше меня встревожило то, как задорно присвистнул Сет при виде этих объявлений, – как будто перед ним поставили задачку, которую он с радостью попытается решить. А еще хуже был многозначительный взгляд, который он на меня бросил, ткнув грязным пальцем в то место на плакате, где значилось слово “Вознаграждение”.

– Опаньки! – с довольной улыбкой воскликнул он. – Железно разживусь двадцаткой.

Глава седьмая

Утром папа ни словом не обмолвился о моей хромоте, но, когда, доставив персики в лавку Чэпмена, мы вернулись к грузовику и я забралась на заднее сиденье, где тихо злилась брату в затылок, папа сказал, что я до обеда работаю в нашем придорожном ларьке.

– Если этот Дэвис снова придет, рук хватит, – сказал папа. – А Коре сегодня не помешает помощь.

Кора Митчелл, дочь нашего соседа, старая дева, живущая в грубо сколоченной, но чистой деревянной лачуге на земле своих родителей, почти всякий день позднего лета и осени работала в нашем ларьке в обмен на то, что папа почти каждый понедельник и среду помогал им на ранчо. У наших семейств так было заведено еще задолго до моего рождения. Кора отлично справлялась – с местными обсуждала погоду, персики и сплетни, а чужим помогала почувствовать себя как дома. Она умела так очаровать покупателя, чтобы он, придя за шестью персиками, купил целую дюжину, а если рассчитывал на двенадцать, ушел с половиной корзины. Часто она распродала все еще до обеда. Не было никакого резона ставить меня за прилавков с ней вместе – не считая травмы, которую я изо всех сил игнорировала. Но я была так зла на Сета и исполнена подозрений в отношении Форреста Дэвиса, что обрадовалась возможности отдохнуть от них обоих.

– С удовольствием, – ответила я папе.

Когда мы подъехали к выцветшему фруктовому ларьку из белой обшивочной доски, добросовестная Кора уже была на месте и ждала нас. Мы были единственными производителями персиков во всей округе, и на трассе 50 наш ларек был единственной постоянной торговой точкой, сразу за мостом, в том месте, где в Айолу заворачивала трасса 149. Кое-кто из местных фермеров иногда тоже выставлял там прилавки и торговал своей продукцией, в основном обыкновенными овощами и корнеплодами, но у нашего ларька была настоящая жестяная крыша, деревянный настил и официальная государственная лицензия. Легенда гласит, будто мой дед, получив в Ганнисоне эту лицензию, в тот же день поместил ее в рамку и повесил на стене в гостиной как картину, вместо того чтобы прикрепить к ларьку, как ему было велено.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.